РОМАН-ГАЗЕТА

№22(860) · 1978

НИКОЛАЙ ШУНДИК

БЕЛЫЙ ШАМАН

ПЕСНЯ СЕВЕРА

Решил человек, что пора ему прощаться с миром, в котором он прожил долгую и трудную жизнь, пора, по его представлениям, по верованиям его народа, перекочевывать в Долину предков, к «верхним людям». И вот перед его глазами предстает весь путь, пройденный им, предстает то, что было прошлым для него и его народа, и то, что стало нынешним днем. Так, на ретроспекции, на множестве новых ретроспекций, возникающих внутри первичной, строится роман Николая Шундика «Белый шаман». Сюжет точно воспроизводит прерывистый ход воспоминаний главного героя — то широкое, плавное, то стремительное и порожистое их течение. Пытливо всматривается человек в каждый свой шаг, в шаги окружающих его людей, врывается к нему дыхание вечно обновляющейся и совсем новой жизни его народа — и он понимает, что земная жизнь прекрасна. Он остается жить. Таково кольцо сюжета.

Три десятилетия прошло с тех пор, как опубликовал в журнале «Дальний Восток» учитель-комсомолец Николай Шундик свои записки «На краю земли советской» — начальный подступ к теме новой Чукотки. Четверть века назад вышло первое издание ныне широко известного романа «Быстроногий олень».

И вот после новых книг и новых тем писатель возвращается к Чукотке. Почему? Конечно, сказалось прежде всего то, о чем уже давно заявил сам писатель: «...запала мне в душу чукотская земля с ее удивительно чистым и поэтичным народом». Но, думаю, главное в ином.

Есть в романе «Быстроногий олень» учитель-комсомолец Володя Журба. Есть в романе «Белый шаман» учитель-комсомолец Александр Журавлев. Очень много автобиографических черточек автора можно найти и во внешних контурах их судьбы, и во внутреннем их облике. Объединяет их с автором не только самозабвенное, благородное стремление посвятить свои молодые годы просвещению отсталого, темного в прошлом народа, но и горячее нетерпение, юный максимализм, от которого настойчиво остерегает Журавлева другой герой романа «Белый шаман» — старший его товарищ по работе, коммунист Артем Петрович Медведев. Думаю, что в этом образе можно видеть alter ego автора нынешнего, вглядывающегося в давние события с высоты мысли глубоко современной, партийной мысли, вобравшей в себя огромное богатство исторического опыта, обретенного нашей страной за десятилетия ее развития, ее движения вперед.

Медведев убежденно говорит: «Здесь особенно, прежде чем раз отрезать, надо семь раз отмерить...»

Вряд ли Володя Журба мог увлечься характером, судьбою такого человека, как Пойгин — «белый шаман». Хотя и не «черный», но все же шаман, а значит, злобный враг добра, прислужник «главных людей тундры» — богатеев, эксплуататоров. А Артем Петрович Медведев и автор романа «Белый шаман» видят в нем фигуру интереснейшую, во многом символизирующую лучшие черты чукотского народа. Более того, совершенно очевидно, что автор романа ряд своих мыслей, философских устремлений делит с Пойгином, подобно тому как Медведев не только учит Пойгина, но и учится у него, даже вытаскивает Пойгина в Москву на важнейшее совещание охотоведов и охотников, обсуждающее, в частности, насущные проблемы экологии.

Что же это за человек — Пойгин?

(Окончание на третьей полосе обложки)

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№22(860)
1978
ИХЛ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

НИКОЛАЙ ШУНДИК

БЕЛЫЙ ШАМАН

РОМАН

1

Пойгин курил трубку и думал: почему он пригласил Ятчоля на охоту? Этот ли человек, с которым он всю жизнь враждовал, достоин его великодушия? Между тем от сочувствия к Ятчолю, от сострадания к нему даже, кажется, смягчался мороз; а он такой свирепый, что порой раскалывает с гулом ледяные громады морских торосов. Прокатится гул, и снова тишина — слышно, как стучит собственное сердце. Может, это не сердце, а Моржовая матерь стучит головой в ледяной покров моря? Как это важно — не ошибиться, не выстрелить в Моржовую матерь: ведь это будет похоже, что ты выстрелил в собственное сердце.

Она добра, очень добра, Моржовая матерь. Лед над морской пучиной для нее все равно что огромный бубен. Она без устали колотит головой в этот бубен, отгоняет злых духов — келет — от морского берега, тем самым оберегая людей от беды.

Пойгин вслушивается в подлунный мир, внемлет звукам ледяного бубна, в который колотит Моржовая матерь. Она добра, очень добра. И Пойгин добр. Не потому ли так усердны его собаки? Больше всех старается приученный волк Линьлинь. Правда, похоже, волк все-таки обижен тем, что и сегодня не он ведет упряжку, но что поделаешь: стар уже, трудно ему, слепому, чуять самую верную дорогу в нагромождении льдов.

Стар Линьлинь. А кажется, не так давно это было: положил Пойгин перед волчонком печенку нерпы, почки ее и сердце — если набросится звереныш на печенку, это покажет, что у него такая непокорная волчья сущность, что его не приручит даже самый добрый человек; если выберет почки, значит, податлив он на дружбу с человеком; если предпочтет сердце — совсем хорошо: есть надежда, что станет ручным, будь только сам человеком, имеющим сердце. Волчонок выбрал сердце, по крайней мере, так показалось Пойгину, хотя Ятчоль уверял, что звереныш впился зубами сначала в печенку. Однако Пойгин решил, что приручит волчонка, даже если бы оказался прав Ятчоль, и дал ему кличку Линьлинь — сердце.

© «Наш современник», 1977 г.
© Издательство «Художественная литература», 1978 г., (доработанное издание).

Пойгину запомнилось еще с детства, как приручал волчонка его дед. «Ты думаешь, все дело в том, чтобы волка сделать добрым? — спрашивал он не однажды внука. — Это верно, однако еще не совсем. Больше всего истины в том, что человек при этом должен изгнать дикого зверя из самого себя».

О, сколько раз потом вспоминал Пойгин эти слова, когда приручал Линьлиня. Порой приходил в отчаяние. Но корил больше себя, чем волка, горько размышляя о том, как мало похож он, Пойгин, на деда, как малы в нем силы добра. Однако шло время, человек и зверь все заметней сближались именно потому, что проявляла себя сила добра человека, перед которой ничто устоять не может.

Ятчоль не верил, что волк покорится, ревниво наблюдал за каждым его шагом и взглядом; а когда убедился, что сосед добился своего, сказал ему: «Все дело в том, что ты шаман, имеешь тайную власть над всеми зверями, входишь в особый сговор с каждым из них, а это может пойти во вред людям».

Больше всего не выносил Ятчоль глаза Линьлиня. Уверял, что взгляд волка прокалывает ему душу, и вся она уже в дырах, и дальше терпеть он этого не может: душа не торбаза, не кухлянка, ее не залатаешь. Ятчоль писал заявление в сельсовет, в район, даже в округ, требуя, чтобы заставили Пойгина убить волка, ходил к врачам, просил заключение, что душа его действительно вся в дырах, пусть будет справка врачей, как он выражался, «вечественным доказательством». Но никто не хотел внимать жалобам Ятчоля, и тогда он во спасение собственной души выколол волку глаза. Произошло это в ту пору, когда Пойгина унесло далеко в море на льдине и уже не осталось никакой надежды, что он вернется. Ятчоль никому не сознавался, что совершил зло над волком, глубокомысленно рассуждал, что Линьлинь сам себе выколол глаза об острые выступы морских льдов: «Вы, конечно, все замечали, как он ходил к берегу и высматривал хозяина, вот, наверное, и разозлился на свои глаза, что они не способны увидеть его».

А Пойгина в это время несло на льдине в открытое море. Мертвый свет луны едва пробивал мглу, которой исходила черная морская вода. Волны неумолчно били в днище льдины. Сначала она была огромная, потом раскололась надвое, еще раз раскололась на три части. Пойгин остался едва ли не на самой малой льдине, боясь расстаться с десятком нерп, которых он успел подстрелить и вытащить на лед, — это была пища. Соорудил из нерпичьих туш что-то наподобие маленького убежища, залепил дыры мокрым снегом. В тот его выезд к разводью в упряжке не оказалось Линьлиня: волк приболел. Упряжка осталась у ледяного тороса, у которого Пойгин закрепил нарту. Выли собаки, почуяв недоброе, когда их хозяина понесло в море, рвались из алыков[1]. Пойгину чудилось, что он слышит вой волка, доносившийся с далекого берега.

Удалось Пойгину убить еще до десятка нерп, он расширил свое убежище, застелил его нерпичьими шкурами, которые на морозе, казалось, превратились в жесть. Плыла в никуда льдина. Дымилась пронизанная смутным лунным светом мгла. Порой открывались взору дрожащие звезды, отражались расплывчато в черной воде. И Пойгину казалось, что это светятся сквозь воду глаза Моржовой матери и ее детей. Вглядывалась Моржовая матерь в человека и, видно, гадала: что же с ним сделать? Если был человек слишком беспощадным к ее детям, то надо ударить головой в днище льдины, расколоть — пусть погрузится он в пучину, представ перед ней один на один. Если чтил человек Моржовую матерь, не убивал беременных самок, не убивал моржовых детенышей — пусть плывет на льдине. Пройдет время, и Моржовая матерь повернет ветер в сторону берега — пусть человек надеется, что достигнет земной тверди.

Проступают смутно в черной воде глаза Моржовой матери и ее детей. Что в них — приговор или спасение? И хотя Пойгин знает, что не может быть здесь в это время года моржей, они чудятся ему. Вон там, слева, спит моржиха. Не один раз видел Пойгин, как спят моржи в открытой воде «стоя». И никогда у него не поднималась рука выстрелить в такого моржа. Когда морж спит на льду или на берегу, тогда можно стрелять — охота есть охота. Случалось, видел Пойгин, как моржиха, обхватив передними ластами моржонка, спит с ним «стоя»; как удивительно тогда похожа она на человеческую матерь, прижимающую к груди свое ненаглядное дитя.

Повадки моржих-матерей всегда поражали Пойгина. Он видел, как моржиха, родив детеныша, толкает его в воду и моет с удивительным проворством и нежностью. Он мог бесконечно долго, сидя в байдаре или на льдине, наблюдать, как сажают моржихи себе на спину или загривок моржат, а потом стряхивают их, терпеливо обучая детенышей плаванию. Кружат моржата вокруг матери, жалобно кричат, боясь воды; мать прижимает то одного, то другого к груди, опять усаживает их себе на загривок...

---

[1] Алык — упряжка для собак.

У моржихи четыре соска, и моржата часто сосут мать в воде. Это очень смешно: детеныш поворачивается вниз головой, обхватывает ластами живот стоящей торчком матери и жадно сосет, пока не приходит надобность глотнуть воздуха. Самое безопасное ложе для детеныша в общей громаде моржей — спина матери. Два года не отпускает моржиха от себя детеныша, оберегая его от всех опасностей. А их так много: гибнут моржата в толчее, когда стадо в панике покидает льдину или берег, почувствовав опасность; гибнут от умки[1], нападающего на беспомощных детенышей; гибнут от пуль и гарпунов охотников.

Для Пойгина было истинным горем видеть, как детеныш упорно не покидает убитую мать, иногда плывет с жалобным криком за байдарой, увозящей труп моржихи. Страшно было видеть, как плачет моржиха, не желая покидать убитого детеныша. Стеная и тяжко вздыхая, она жадно обнюхивает погибшего моржонка, толкает носом его к воде; и если ей удается достичь воды, она обхватывает мертвого детеныша ластами, крепко прижимает к груди и не может с ним расстаться иногда по нескольку суток.

Пойгин еще смолоду был признанным вожаком охотничьих походов в море на моржа. Его отвага, умение угадать поведение не только отдельных зверей, но целого стада были известны всем. Однако не каждый понимал Пойгина, когда он впадал в угрюмое молчание, в глубокую тоску при большой охотничьей удаче. Возвращаясь с перегруженными байдарами с ледяных полей, Пойгин часто не отвечал на шутки, почти ничего не ел, не мог уснуть. Не всякому объяснял он, что его преследуют крики моржат, стоны их матерей, что ему мерещатся моржихи, совсем по-человечески прижимающие мертвых детенышей к груди. Пойгину, бывало, удивлялись, но никто не смел шутить над ним, мало того, старики предупреждали тех, кто уж слишком был озадачен его поведением: «Не вздумайте язвить его насмешкой, так создан он, что душа нелюдских существ способна вселяться в него, потому и принимают они его за своего. Видно, и он считает их для себя не чужими. Но рожден-то он все-таки человеком, охотником. И чему быть на охоте — тому быть. Однако потом, когда кончается охота, вы спокойно засыпаете, а к нему в сновидениях является Моржовая мать с убитыми своими детьми и мучает его слезами и стонами. Дело в том, что душа его оказалась намного обширнее, чем надо бы одному человеку. Так что остерегайтесь его обидеть». Молодые охотники внимательно слушали увещевания стариков и смотрели на Пойгина с изумлением, сочувствием и суеверным страхом.

Пойгин мог безошибочно определить в стаде моржей келючи. Это морж-хищник. Нечасто встречаются с ним охотники. Большинство моржей питается двустворчатыми моллюсками на отмелях, изредка падалью. Может, лишь на тысячу моржей приходится один келючи. Этого моржа смертельно боятся все тюлени, особенно нерпа, нападает он и на моржих с моржатами; боятся келючи и охотники, страшным словом «келючи» пугают детей.

Однажды охотники заметили, как побледнело лицо Пойгина, вникавшего в поведение стада моржей. Всем стало ясно: появился келючи. Ятчоль, бросаясь к байдаре, прохрипел:

— Келючи! Скорее на берег!

Еще у нескольких охотников сдали нервы. Они столкнули со льдины легкую, из моржовых шкур, байдару на воду.

— Назад! — приказал им Пойгин. — Келючи настигнет вас. Пропорет днище байдары. Я узнал его — это людоед.

Байдара уходила все дальше. Четыре охотника отчаянно гребли веслáми, а Ятчоль, вскинув карабин, всматривался в морские волны, быстро поворачиваясь в разные стороны. Волна не позволяла ему твердо стоять на ногах, иногда он почти падал и снова вскакивал, тыча в разные стороны стволом карабина.

И вдруг крик донесся с байдары: «Келючи! Келючи! Келючи!» Ятчоль беспорядочно стрелял, байдара резко накренилась, зачерпнув воды, видимо, келючи ударил в нее головой.

— Назад! — закричал Пойгин. — Плывите назад!

Байдара развернулась, поплыла к ледяному полю. На веслах осталось двое. Ятчоль и еще два охотника схватились за копья, не давая келючи подплыть к байдаре.

Келючи распорол днище байдары уже у самого ледяного поля. Охотники успели выскочить на лед. Келючи зацепил байдару бивнями, поволок ее за собой, рыча и фыркая. Изломав бивнями деревянный остов, он превратил байдару в кучу моржовых шкур, медленно плывущую по воле волн. Ятчоль сел на лед, бормоча трясущимися губами: «О, келючи! Келючи! Проклятый келючи!» Если бы морж-людоед распорол днище байдары не рядом с ледяным полем — никто из пятерых не спасся бы...

Пойгин подошел к Ятчолю, с бесстрастным видом протянул ему свою трубку и сказал:

— Ты всегда поступаешь наперекор мне. Сегодня это могло бы кончиться очень скверно.

---

[1] Умка — белый медведь.

— Это ты наслал на меня келючи! — крикнул Ятчоль и тут же осекся под суровыми взглядами охотников.

Моржовое стадо расположилось на соседней льдине. Пойгин, вооружившись биноклем, долго наблюдал за поведением животных.

— Да, это келючи. Одноглазый людоед, — наконец сказал он угрюмо приумолкнувшим охотникам. — Тот самый, который в прошлом году перевернул три байдары охотников из стойбища Китовая Челюсть. Погибло шестнадцать мужчин. Кто-то из них все-таки сумел копьем выколоть келючи глаз.

Эту историю знали все охотники, но Пойгина выслушали с таким потрясением, будто услышали ее впервые.

— Если мы не убьем келючи здесь, — сказал Пойгин, не отрывая бинокль от глаз, — он нас догонит в пути. Он будет стеречь байдары до самой зимы. Надо его убить. Сделаю это я...

Охотники смущенно, вместе с тем с надеждой переглянулись, а Ятчоль поднялся со льда и сказал, все еще трясясь от страха:

— Я пойду с тобой. Я его задушу собственными руками! Я выворочу бивни из его вонючей пасти!

Громкий хохот, казалось, удивил даже моржей. Улыбнулся и Пойгин.

— Здорово ты нас развеселил, — сказал он и снова поднес бинокль к глазам.

Плыло над горизонтом солнце. Вблизи море было зеленым, а вдали почти черным. Обширные поля дрейфующих льдов слепили лучистой белизной. С неумолчным криком кружили чайки. В мглистой дымке угадывался морской берег. Снежные вершины гор маячили вдали.

Пойгин, присев на нос одной из байдар, вытащенных на лед, не отрывал бинокль от глаз, наблюдая за келючи. Да, это был самый крупный зверь в стаде, огромный, с могучей грудью. Выбравшись на лед, он победно осмотрелся единственным глазом. Заметив, как трусливо уходит с его дороги вожак стада, засвистел, несколько раз утробно пролаял. Собравшись в комок, он бросил могучее тело вперед, подобрал под себя задние ласты для следующего броска. Стадо, сбиваясь в общую массу, уступало ему дорогу. Замешкалась моржиха с детенышем, ткнула моржонка несколько раз носом, отодвигая в сторону, однако было уже поздно. Келючи в следующем броске настиг малыша и вогнал в него страшные бивни. Мать жалобно заревела.

Лицо Пойгина страдальчески передернулось. Опустив бинокль, он некоторое время что-то напряженно обдумывал. Охотники с потерянным видом топтались возле него, не решаясь вымолвить ни слова. Лаял и стонал смертельно раненный моржонок, ревела моржиха. Пойгин отомкнул затвор карабина, зачем-то заменил патроны, внимательно оглядывая каждый из них, и тихо сказал:

— Я иду на келючи.

Несколько охотников с решительным видом схватились за свои карабины.

— Нет, я один, — остановил их Пойгин. — Я не знаю, как поведет себя стадо. Моржи могут отомстить за келючи, если они признали его вожаком. Меня они не тронут...

— Это почему же тебя они не тронут? — заносчиво спросил Ятчоль.

Пойгин даже не глянул в его сторону. Еще раз проверив карабин, он первым схватился за байдару, чтобы столкнуть ее на воду.

Келючи, уже успевший ранить моржиху, внимательно следил и за поведением охотников. Едва заметив, что байдара оказалась на воде, он бросился к краю льдины, намереваясь нырнуть в море. Но он слишком далеко зашел на ледяное поле, упиваясь своей властью над стадом. Грузно переваливаясь, келючи порой приостанавливался, высоко поднимал голову, угрожающе рычал, будто бы изумляясь дерзости приближавшегося к нему охотника.

Пойгин, вскинув карабин, шел на келючи. Теперь он ничего не видел, кроме раскрытой его пасти, из которой торчали два огромных бивня.

Какой он огромный! Надвигается горячей, сотрясаемой яростью тушей, закрывая собой полсвета. Даже солнце собою закрыл. Вот уже обдает Пойгина горячее, смрадное дыхание зверя.

Пойгин выстрелил прямо в пасть келючи. Зверь вскинул голову еще выше и вдруг с размаху воткнул бивни в лед. Из горла его вместо рыка вырывался хрип. Вот он еще раз поднял голову, раскрывая пасть. И Пойгин снова выстрелил. Келючи повалился набок, обнажая брюшину. Пойгин послал последние пули ему в живот.

Бесконечно долго длилось мгновение, в которое Пойгин пытался постигнуть, что происходит со стадом. Заходилась в крике совсем низко над его головою чайка. Звенело в ушах. Плескалась волна о днище льдины. Размеренные удары волны казались неправдоподобно спокойными. Море совершало привычную работу, гнало льдину куда-то на север, все дальше от берега, с поверженным келючи и с человеком, который никак не мог прийти в себя и подумать о том, не грозит ли ему новая опасность: бывает, что стадо моржей бросается к погибшему вожаку, сталкивает в море и уносит, стараясь при этом отомстить виновникам его гибели. Если бы сей-

час моржи двинулись со всех сторон к убитому келючи, они смяли бы дерзкого охотника.

Видимо, прошло еще одно бесконечно длинное мгновение, отмеченное новым истошным вскриком чайки, прежде чем Пойгин понял, что моржовое стадо не признало келючи за своего вожака. Это было спасение. Моржи, поднимая морды, фыркали, некоторые лаяли, но никто из них не выражал ярости. Мало того, было похоже, что вздох облегчения сотрясает все стадо. А поверженный келючи безжизненно лежал на льду, из пасти его лилась кровь.

Пойгин медленно стащил с себя малахай, вытер потное лицо и, забив магазин карабина патронами, пошел к байдаре.

Так покарал Пойгин в тот раз моржа-людоеда. Не подкрадывается ли теперь к льдине, уносящей Пойгина в никуда, другой келючи? Мгла клубится тяжело, безысходно. И Пойгину кажется, что так вот выглядит теперь его угнетенная страхом душа. Все тело пробивал озноб. А потом начала колотить Пойгина лихорадка. Мерцала тусклыми бликами от зеленого лунного света рябь на волнах. И Пойгину казалось, что это от его лихорадки дрожит даже море. Дрожали звезды, слабо пробиваясь сквозь мглу, и Пойгину чудилось, что это им передалась его лихорадка. И, наверное, берег вдали трясется от его лихорадки. И мечется Линьлинь на привязи, землю лапами скребет, вскидывает морду и воет на луну, заставляя поселковых собак задыхаться от лая.

В бреду Пойгин иногда видел, что Линьлинь плавает в морской пучине рядом с Моржовой матерью; и взгляд преданных глаз волка, пробивающийся сквозь морскую толщу воды, умоляет не отчаиваться. Но отчаянье затопляло Пойгина, как затопило весь мир бескрайнее море. Одолевали галлюцинации. Явственно слышался вой Линьлиня, протяжный и жалобный. Порой волк скулил, как собака, которой было мучительно больно. Как знать, может, именно тогда, когда Ятчоль совершал над волком свое страшное зло, Пойгин и слышал этот жалобный скулеж. И плакала Моржовая матерь, как плачут моржихи, прижимая ластами к груди свое бездыханное дитя. То в одном, то в другом месте выныривала ее голова. И тогда море ухало от тяжкого вздоха Моржовой матери. Волк и Моржовая матерь для Пойгина становились чем-то единым, вызывающим пронзительную жалость. Порой Пойгину хотелось броситься головой в морскую пучину, чтобы и самому стать частью того, чем теперь представлялись ему Моржовая матерь и волк. Но в такие мгновения возникала тенью жена Кайти. Блуждала невесомо в клубящейся мгле Кайти и поднимала предостережительно палец, мол, не двигайся с места, одолей безумие, иначе бросишься в воду, погибнешь.

И наверное, Моржовая матерь все-таки признала в Пойгине того человека, которого надо спасти, повернула к берегу ветер. Пойгин выбрался на твердь далеко от своего поселка, но, к счастью, попал в стан гидрологической экспедиции. На вертолете отправили его в районный центр Певек. Месяц он пролежал в больнице. И когда прибыл домой, то первой вестью узнал о том, что волк его ослеплен. Пойгин догадался, что это сделал Ятчоль. Он едва не привел в дом Ятчоля волка, чтобы повелеть ослепленному зверю впиться зубами в горло его мучителя. Но кровь человека, пролитая зверем, была бы знаком недобрым, а потому не имеющим в себе необходимого начала справедливости. Линьлинь хотя и был бы отмщенным, но Ятчоль не оказался бы в полной мере наказанным: неустыженная совесть его погибла бы вместе с его телом. А волку люди вменили бы в вину гибель человека. Нет, пусть Ятчоль узнает другое возмездие: да будет ему известно, что Пойгин выходит на тропу волнения, чтобы наказать Скверного!

О, это особая тропа, не каждому суждено выходить на нее. Совершилось черное дело. И вот теперь надо роду человеческому отвечать за то, что он, этот род, иногда порождает зло. По какому-то тайному предопределению жизнь выбирает ответчика, способного раскалить сердце горем и гневом настолько, что черное зло пережигается в нем до белой золы. Пойгин самой судьбой давно выбран таким ответчиком, искупителем. Несколько суток он не будет пить, есть, не будет спать. Он изнурит себя самой трудной и опасной дорогой. И все это время искупитель будет самозабвенно внушать самому мирозданию, что он без всякой пощады осуждает Скверного. Пусть знает даже самая дальняя звезда, что подлость не осталась безнаказанной, черное зло сгорит в раскаленной душе до белой золы. И потому пусть произойдет в недрах живых существ, именуемых людьми, очищение.

А Скверный между тем будет все эти дни пребывать в стыде и тревоге, зная, что искупитель его вины подвергает себя опасности, что он может не только заболеть, но и умереть. И если искупитель не вернется и на седьмые сутки, мужчины всего селения отправятся на его поиски. Не разрешено будет в тот день одному лишь Скверному даже носа высунуть из своего жилья.

Скверным в тот раз был Ятчоль. Он старался убедить себя, что ему безразлично шаманство Пойгина, пусть ходит себе по тундре сколько ему угодно, пусть голодает, мучается от жаж-

ды, если так угодно его безумной голове; пытался даже высказывать эти мысли вслух, но его никто не слушал, все отворачивались от него, показывая откровенное презрение. Какое-то странное беспокойство вселилось в душу Ятчоля, он выкуривал трубку за трубкой, пинал собак, кричал на жену, даже сказал, что ему надоело жить и что он не сегодня-завтра застрелится, уйдет навсегда в Долину предков, к верхним людям. И когда было невмоготу оставаться в собственном доме, шел к соседям, долго и нудно оправдывался.

Пойгин вернулся домой на седьмые сутки. Охотники все были у морского разводья, которое нежданно-негаданно возникло чуть ли не у самого берега. Сидел на оленьей шкуре у самой кромки разводья и Ятчоль. Рядом с ним лежало три нерпы. Толстый, приземистый, он не отводил от глади морской воды узенькие глазки, готовый вскинуть карабин в любое мгновение.

И вдруг Ятчоль кожей спины почувствовал, что позади него стоит Пойгин. «Да, это он, — с ужасом думал Ятчоль. — Это он, проклятый. Сейчас глянет мне в глаза, и я больше не попаду ни в одну нерпу».

Медленно обернулся Ятчоль, еще втайне надеясь, что Пойгин ему почудился. Но это был все-таки он, Пойгин. Ятчоль встал и попятился. А Пойгин наступал, не отводя от Ятчоля неподвижного взгляда. Был он завидного роста, прям, с горделивой осанкой, позволявшей ему держать голову высоко и независимо. Изможденное лицо его было настолько непохожим на прежнее, что можно было подумать: это вовсе и не Пойгин, а его брат, что ли, — старше годами и, видимо, еще куда круче нравом, куда сильнее в своей непонятной власти над душой ближнего.

— Не смотри на меня шаманскими глазами! — срывая голос до женского визга, закричал Ятчоль. — И так у меня вся душа в дырах.

Охотники, закинув карабины за спины, подходили к тому месту, где Пойгин с огромной высоты своего превосходства молча казнил Ятчоля взглядом.

Но вдруг глубоко запавшие глаза Пойгина помутились, и он стал падать, тщетно пытаясь за что-нибудь ухватиться. Один из самых старых охотников опустился на колени, внимательно всмотрелся в лицо Пойгина и сказал:

— Он погрузился в беспамятство от усталости и голода.

Кто-то брызнул водой в лицо Пойгина, и он снова открыл глаза, обвел всех неосмысленным взглядом, наконец узнал Ятчоля. Невероятным усилием заставил себя подняться. Еще какое-то время он молча смотрел на Ятчоля и вдруг перевел взгляд на воду. Прямо перед Ятчолем показалась голова нерпы. Никто из охотников не вскинул карабина, кроме Ятчоля.

— Промахнешься, — тихо сказал Пойгин и, повернувшись, пошагал к поселку.

Ятчоль и вправду промахнулся.

— Шаман! Проклятый шаман! — закричал он, глядя с ненавистью в спину Пойгина.

...Вечером жена Ятчоля Мэмэль — Нерпа у соседей сетовала на свою судьбу:

— Лучше бы ослепнуть, чтоб не видеть, как вселяется в мужа ярость медведя. Схватил карабин и кричит: посади меня на цепь, а то беда будет. Убью Пойгина — судить станут.

Слова эти передали Пойгину.

— Пойду посмотрю на него, — сказал Пойгин. — Если сам себя на цепь посадил, значит, боится встречи со мной. А я все-таки еще раз сегодня гляну ему в глаза...

И вот Пойгин вошел в дом Ятчоля. В первой комнате было пусто и грязно. Впрочем, у Ятчоля всегда было грязно — и сейчас, и тогда, когда жил в яранге. В дом перешел одним из первых и сразу же сделал его еще грязнее яранги. Пахнет пережженным нерпичьим жиром, кислыми шкурами, мочой. Печка полуразрушена, на полу немытая посуда.

В соседней комнате послышался пьяный голос Ятчоля:

— Мэмэль, где ты там! Дай мне еще бумаги и другой карандаш. Этот сломался.

Пойгин отворил дверь и увидел Ятчоля, сидевшего на полу. Он действительно посадил себя на цепь: один конец был замкнут тяжелым замком на спинке кровати, а второй обмотан вокруг шеи. На полу недопитая бутылка спирта, железная кружка и чайник, опрокинутый набок, из которого вылилась вода. Тут же было разбросано несколько листков бумаги, вырванных из тетради. Сидя спиной к двери, Ятчоль безуспешно пытался отодрать от грязного пола один из бумажных листков.

— Мэмэль, где ты? Вытри пол. Дай мне еще бумаги и карандаш...

Длинная цепь гремела на полу. Ятчоль порой поправлял ее на шее, потом опять тянулся к листку. Почувствовав наконец, что за его спиной кто-то стоит, он повернулся и вдруг встал на четвереньки, буравя Пойгина налитыми кровью пьяными глазами:

— Ты зачем сюда пришел?

Пойгин не ответил. Скинув гремящую цепь с шеи, Ятчоль бросился к кровати, запустил руку под тюфяк, выхватил карабин.

— Убью!

— Промажешь, — спокойно ответил Пойгин.

Ятчоль вскинул карабин и долго целился,

пьяно поводя стволом из стороны в сторону. Пойгин не двинулся с места. Ятчоль щелкнул незаряженным карабином, отомкнул затвор.

— Я знаю, ты догадался, что карабин пустой. Спрятала от меня Мэмэль все патроны. Но ничего! — Ятчоль поднял с пола карандаш, нацелился в Пойгина, будто копьем. — Вот чем я тебя убью. Заявление напишу... судить тебя надо за шаманство. Видишь, сколько листков бумаги испортил? Когда пьяный — буквы туда-сюда, будто козявки, разбегаются... Садись, спирту выпей. Ну, ну, садись, пока я добрый. Слышишь? Я мириться хочу...

2

Так наказал Пойгин Ятчоля за ослепление волка. Не один еще раз поднимался ветер вражды между ними. И вот непонятная сила великодушия заставила Пойгина пригласить Ятчоля с собой на охоту. Когда достигли разводья, разбили палатку, вскипятили на примусе чаю, Ятчоль отстегнул от упряжки волка, и тот медленно пошел вдоль ледяной кромки разводья, иногда присаживался на задние лапы и долго смотрел незрячими глазами на клубящуюся мглу над водою.

Ятчоль с невольным страхом понаблюдал за Линьлинем, влез в палатку, подумав: «А может, Пойгин и правду говорит, что этот волк когда-то в давнее время был человеком». Приняв от Пойгина железную кружку горячего чая, сказал с тоскою:

— Вот тебе в Москве Звезду на грудь нацепили, героем назвали, а то, что ты шаман, забыли...

— Тебе известно, что я не черный, я — белый шаман. Поклоняюсь солнцу, а не светилу злых духов — луне...

— Да, да, солнцу, солнцу, — равнодушно подтвердил Ятчоль, осторожно отхлебывая горячий чай.

— Не злые духи, а благожелательные ваиргит[1] стали навсегда моими помощниками. Свет солнца, устойчивость Элькэп-енэр[2] и вечное дыхание моря.

— Слышал, слышал столько раз, сколько выкурил в своей жизни трубку...

— Послушай еще раз, чтобы не писал больше всяких писем, что я просто шаман. Я белый, понимаешь, белый шаман. Еще с детства я прогонял от себя всех злых духов. Я не заключал с ними никакого уговора, хотя они очень хотели бы, чтобы я...

— Слышал, слышал, — уже раздраженно прервал Ятчоль собеседника. — Столько раз слышал, сколько раз опускал штаны по нужде...

— Ну так вот: послушай еще раз и вникни. А то может случиться... опустишь штаны, а снова поднять уже никогда не сможешь...

— Ты меня не запугивай! А то пойду по поселку с неподнятыми штанами, и тогда это будет доказательством твоего шаманства. Нарочно сделаю, чтобы все видели. Попрошу даже фотокарточку сделать, чтобы судьям в руки... Ве-чест-вен-ное доказательство называется.

Слово «вещественное» никак не давалось Ятчолю.

— Идем лучше к разводью нерпу стрелять, — примирительно сказал Пойгин, раскуривая трубку.

— А красивая у тебя Звезда, будто сама Элькэп-енэр сошла тебе на грудь. Зря ты ее на кухлянку не прицепил, — в голосе Ятчоля слышалась зависть и тоска. — Конечно, быть тебе великим охотником легко, ты шаман, звери сами в твои капканы идут. Если бы подумали там, в Москве, о твоем шаманстве, не дали бы тебе Звезду...

— В тебе живет злой дух зависти. Пойдем нерпу стрелять.

На разводье больше повезло Ятчолю: ему удалось убить три довольно крупные нерпы, а Пойгин подстрелил всего лишь одну, к тому же на редкость маленькую.

— Вот я теперь над тобой посмеюсь! — хорохорился Ятчоль. — Звезду получил и сразу разучился охотиться. Все смеяться будут...

— Я рад, что у тебя сегодня удача, — миролюбиво ответил Пойгин. — Но где Линьлинь? Пойду поищу.

Нашел Пойгин Линьлиня мертвым в ледяной нише одного из огромных торосов. Волк лежал, положив морду на вытянутые лапы. Густой иней успел затянуть его незрячие глаза. Пойгин зачем-то сорвал с себя малахай, словно хотел отогреть и оживить волка, пал на колени. Провел оголенной рукой по лбу Линьлиня, по спине, слегка пошевелил. Линьлинь успел окаменеть на морозе.

Пойгин долго сидел на снегу с непокрытой головой, не чувствуя, как волосы его схватывает иней. В его памяти промчалась вся жизнь волка. Крепко зажмурив глаза, прижался лицом ко лбу Линьлиня, потом медленными движениями сбил со своей головы иней, надел малахай. Долго курил трубку, не спуская с волка скорбных глаз.

К разводью Пойгин подошел медленным, шаркающим шагом, вдруг почувствовав весь

---

[1] Ваиргит — множественное число от слова «ваиргин» — существа.

[2] Элькэп-енэр — Полярная звезда.

груз прожитых лет. «Надо и мне отправляться в Долину предков, к верхним людям», — скорбно думал он.

Ятчоль, премного довольный удачной охотой, встретил Пойгина прежней шуткой:

— Ну как, не загрыз ли твой Линьлинь умку?

Пойгин медленно поднял на него бесконечно печальный взгляд, глубоко затянулся из трубки и сказал с отчужденным видом:

— Умер Линьлинь.

— Как умер?! — потрясенно спросил Ятчоль.

— От старости, видно.

Пойгину хотелось сказать, что старость Линьлиню приблизил Ятчоль, но он смолчал. По лицу Ятчоля он почувствовал, что ему страшно услышать эти слова.

— Поехали домой, — усталым голосом сказал Пойгин.

Всю дорогу он думал о Линьлине. Собаки, словно поняв, что они навсегда расстались с Линьлинем, бежали неохотно, с понурым видом; то одна, то другая жалобно скулила. А Пойгин, выкуривая трубку за трубкой, говорил себе мысленно: «Да, пора, пора и мне уходить к верхним людям».

Пойгин оглядывал нагромождение морских торосов, похожих на каких-то огромных зверей, собравшихся в бесчисленное стадо, и в ледяном безмолвии слышалось ему, как неистово колотила Моржовая матерь в ледяной бубен, как выл тоскливо, где-то далеко-далеко, уже не наяву, а в памяти его, верный Линьлинь.

3

Дома Пойгин слег. Дочери, зятю и внукам объяснил, что ему хотелось бы побыть одному в прощальных думах о Линьлине; его растрогало, что все они искренне горевали о несчастном волке. Самый младший внук долго плакал, подходил к деду и спрашивал, точно ли он убедился, что Линьлинь умер, не уснул ли волк?

— Нет, не уснул. Вернее, уснул навсегда, — печально отвечал Пойгин.

Отказавшись от врача, Пойгин все больше расслаблял себя мыслями о желанной смерти, перебирал в памяти всю свою жизнь. Так происходило с ним уже не однажды.

Сколько уже прошло лет с тех пор, как он увидел впервые солнце на небе? Кажется, столько, сколько пальцев на руках и ногах у пяти человек. Ну, может, и не у пяти, на одного поменьше — все равно много. Пролетела жизнь, как стремительный пойгин — копье, запущенное чьей-то сильной рукой. Ну и дали же ему имя! Что, разве плохое? В молодости был он стремительным, как острое копье, стремительным на ногу, на слово, на решительный поступок. А теперь вот, как тот старый Линьлинь, видно, скоро уйдет к верхним людям.

Не все уходят вверх, в Долину предков, многие проваливаются после смерти в подземное обиталище умерших. Почему так бывает? Это ясно каждому, пожалуй, еще со времен первого творения: кто в своих делах, в своих словах не порождает зла, у кого душа всегда чисто пребывает в теле, — тот уходит вверх, в солнечную Долину предков; а кто дружит со злыми духами, кто поклоняется их светилу — холодной луне, кто приносит зло другим людям — тот проваливается под землю, где живут особенно злые духи ивмэнтуны.

Ну, а Пойгину, наверно, уготовано место в Долине предков среди верхних людей. Только он там не засидится, вернется на землю снова, оставив за себя в Долине предков свою тень. Нет, что бы там ни говорили, а здесь, на земле, человеку, вероятно, интересней и привычней, чем где бы то ни было.

Пойгин медленно оглядывает комнату, которую с такой заботой всегда содержала в чистоте его дочь Кэргына. У кровати, на вымытом до блеска полу, лежит распластанная шкура умки. Это шкура первого медведя, которого он, Пойгин, еще в молодости убил копьем. Именно после этого начали его называть Пойгином. До той поры его звали просто Нинкай — Мальчик. Вот так, мальчик, и все тут. И лишь потом, когда он доказал, что становится мужчиной, получил достойное имя — Пойгин. А мог, мог бы на всю жизнь остаться Нинкаем — бывает и так: уже старый совсем человек, но зовут его мальчиком...

Лежит шкура умки у самой кровати, во многих местах поистерлась. Что поделаешь, ей уже столько лет, сколько пальцев на руках и ногах, пожалуй, у трех человек, может, и больше. Побежденный умка, расставаясь с жизнью на окровавленном льду, отдал свою ярость студеному морю и стал другом человека, одержавшего победу в честном поединке. С тех пор много ночей спал Пойгин на этой шкуре, как бы в обнимку с побежденным умкой. Пожалуй, он и умрет на этой шкуре.

Взгляд Пойгина скользит дальше, останавливается на стене, где висит глазастая железная коробка с тупым коротким рогом. Называется это кинокамера. Зять Пойгина, русский человек Антон, сам научился делать кино. И машина у него есть, показывающая кино, там вон, в соседней, самой большой комнате, в углу стоит. Попросить бы Антона, чтобы направил глаз этой

волшебной коробки прямо на него, на Пойгина, в тот миг, когда он будет перекочевывать в Долину предков. Потом, когда Пойгин опять вернется на землю, интересно будет ему посмотреть, как он уходил к верхним людям.

У Антона много уже сделано кино, в котором Пойгин ходит, разговаривает, смеется, из карабина стреляет, чай пьет, в бубен колотит. Умная голова придумала это кино, никакой шаман не способен на подобное колдовство. Вот Пойгин умрет, а живые люди будут видеть его. Следовало бы еще немножко подумать умной голове, чтобы несуществующего человека не только можно было видеть, но и рукой до него дотронуться, тело его живое почувствовать, мыслями обменяться, чайку вместе попить. Наверно, скоро дойдет и до этого чья-нибудь умная голова, жаль только, что до сих пор еще не додумалась, и Пойгину придется оставить здесь, на земле, как бы только свою тень. Но ничего, к тому времени, когда он опять сюда вернется, у Антона новая волшебная коробка появится, может быть, точно такая, о какой сейчас Пойгин мечтает. Ну, а то, что Пойгин не слишком загостится в Долине предков, — он нисколько не сомневается. Вернется, и вернется в самом лучшем виде.

Ведь по-всякому можно вернуться в этот мир: камнем, собакой, совой, оленем, а то еще хуже — просто мышиным пометом. Можно и человеком. Почему так по-разному? Да потому, что уж так заведено: лишь тот возвращается на землю опять человеком, кто и пребывал здесь именно человеком, кто не оскорблял род человеческий злом.

А сейчас, пожалуй, пора отправляться в дальний путь. Нелишне бы трубку в последний раз выкурить. Пойгин шарит рукой по тумбочке, нащупывает трубку. Чуть не опрокинул чашку с остывшим чаем. Приподнялся, отпил глоток. Остыл чай, надо бы горячего попросить. «Ты, может, еще и стаканчик спирта опорожнить не прочь?» — усмехаясь, спрашивает себя Пойгин.

И где же это Кэргына? Совсем забыла старика. Надо бы напоследок повнимательней посмотреть на ее живот: точно ли не сегодня-завтра родит?..

С родами дочери Пойгин связывал самые заветные свои надежды. Он верил, что, как говорят о том древние вести — сказания, хороший человек может вернуться из Долины предков в образе собственного внука или внучки; надо только умереть в то время, когда дочь или невестка станет тяжела внуком.

Пойгин уже три раза приурочивал свой уход к верхним людям именно к такой счастливой поре. Даже имена своим внукам (а он почему-то был уверен, что родятся именно мальчики) давал, как подсказывал древний обычай. Когда должен был родиться первый внук, Пойгин заранее дал ему имя Рочгилин — С другого берега. Именно под этим именем Пойгин должен был вновь пребывать в этом мире. Но он так и не успел в тот раз уйти к верхним людям А Рочгилину дали еще и русское имя Роман или еще немножко иначе — Рома. Потом точно так же случилось и со вторым внуком, которому Пойгин заранее придумал имя Пыльценти — Вернувшийся обратно. Этого по-русски назвали Петей. Третьему внуку Пойгин дал имя Гирголь — Верхний. Но и тут не успел уйти вверх. А внук получил и русское имя Гриша.

Теперь вот дочь забеременела в четвертый раз. Пойгин, уверенный, что уж тут-то он сумеет вовремя убраться к верхним людям, мучительно придумывал новое имя из тех, которые обозначают вернувшегося из мира иного. Сначала остановился на имени Рэмкилин — Гость. Но гость, конечно, это хорошо, когда приходишь в чужой дом или в чужую ярангу, а Пойгин всю землю, еще с тех пор, как ощутил, что пребывает в этом мире, считал своим родным обиталищем. Нет, уж пусть он и после возвращения из Долины предков будет здесь хозяином. Пожалуй, лучше всего назвать внука Рагтылин — Вернувшийся домой, а еще лучше так: Нуват — Возвращенный. Надо бы успеть сказать об этом дочери и зятю. Но где они?

— Кэргына, где ты? — со стоном позвал дочь умирающий Пойгин. Немножко смутился оттого, что голос прозвучал довольно громко: вряд ли пришло время начать великую перекочевку. Дочь не отозвалась. Пойгин в приливе неожиданного гнева едва не вскочил на ноги. Но это уже совсем было бы неприлично для умирающего. Стараясь успокоиться, он почесал себя за ухом, полежал неподвижно с закрытыми глазами и опять позвал дочь, на сей раз тихим, скрипучим голосом. Чувствуя, что явно притворяется, опять рассердился.

А может, лучше было бы совсем не умирать? Ну что за нужда уходить в Долину предков, если потом все равно вернешься? Еще возвратишься какой-нибудь букашкой или волком, взбесишься от тоски по человечьей жизни, оленей, пастухов перекусаешь. Интересно, знает ли такая букашка или волк, что когда-то были они людьми? Если знают — совсем плохо, можно от тоски взбеситься. Захочется по-человечески чайку крепкого попить, новости с других земель по радио послушать, а то и газетку почитать, и вдруг вспомнишь — волку такое нельзя, не полагается. И зачем только Пойгин разговору по бумаге научился? Неслыханное

может произойти: увидит кто-нибудь (если доведется волком вернуться), как сидит зверюга матерый на камне и газетку почитывает — с ума любой крепкоголовый сойдет!

Представив себе волка, сидящего по-человечьи на кочке или камне с газетой в передних лапах, Пойгин беззвучно рассмеялся. «Это диво просто — волк с газетой,— мысленно приговаривал он. — Нет, ты только вообрази себе — волчище с газетой, разные новости читает. Хмыкает с удовольствием, а то и зубами от злости щелкает, если вести плохие».

И опять смех начал сотрясать Пойгина. Он даже за грудь схватился, чтобы остепенить себя. Наконец, успокоившись, посмотрел с тоской в тот угол комнаты, где стоял столик, на котором возвышалась аккуратная стопка газет.

Газеты читать для Пойгина стало любимым делом, жаль только, что разговору по бумаге на русском языке не научился; тут, наверно, все-таки русский разговор по-настоящему знать надо, а не так, как он, усвоил всего несколько слов.

Но ничего, есть газеты и на чукотском разговоре — окружная, районная. Пойгин эти газеты, порой пятилетней давности, от строчки до строчки с огромным удовольствием перечитывает: интересно вспомнить, как все было пять лет назад, прикинув в уме, что изменилось с тех пор.

Пойгин с трудом преодолел соблазн встать, подойти к столику с газетами. И зачем Кэргына так далеко поставила от кровати этот столик? Пойгин медленно завел руки под затылок, крепко сцепил пальцы, долго смотрел неподвижно в потолок. Одну ногу в колене согнул, вторую закинул на колено, принялся покачивать ступней. «Ничего себе умирающий»,— подумал он, по-прежнему покачивая беззаботно ступней. Подумал об этом незлобиво, даже усмехнулся благодушно. Но улыбка тут же исчезла: его опять посетили мысли о жизни и смерти...

Ворочается Пойгин на шкуре умки, затащив ее на кровать, ворочается, томимый размышлениями о великой перекочевке в Долину предков.

В чем смысл существования тех, кто перекочевал туда? Продляют ли они свой род деторождением? Наверное, нет, если Долина предков заселяется лишь теми, кто приходит из мира земного. Выходит, что мужчины и женщины там, скорей всего, похожи на тех, которые не чувствуют ни тепла, ни холода, ни света, ни запаха. Выходит, что это не совсем жизнь, если ты не можешь порождать новую жизнь?

Вспомнилась Пойгину его первая жена Киунэ, чье имя означает — Неизвестная Женщина. Печальными были эти воспоминания.

Женили Пойгина еще до его рождения. Таков был обычай: при желании роднящихся с той и с другой стороны могла возникнуть и такая семейная пара. Киунэ отдали замуж еще тогда, когда ее свекровь была лишь беременной ее мужем. И вот муж родился. Киунэ уже зрелой девушкой нянчила его, как родная мать. Маленький Пойгин, которого тогда просто звали Мальчиком, и воспринимал свою жену как вторую мать. Рос мальчик, становился юношей, а Киунэ старела. Пойгин и в мыслях не мог представить, что должен проявить себя по отношению к Киунэ как мужчина, хотя не однажды чувствовал по ночам, насколько горячи и трепетны руки этой всегда задумчивой, забитой женщины. О Пойгине стали говорить как о человеке, не способном проявить свое мужское начало. Юношу Пойгина это смущало, даже бесило...

А Киунэ, находясь замужем много лет, так и не стала женой. Однажды в метельную ночь она незаметно ушла из яранги. Ушла навсегда, не оставив после себя ни сына, ни дочери. Ее нашли уже летом в прибрежных скалах, когда летней порой сошли сугробы.

Пойгин долго чувствовал смутную вину перед Киунэ, часто видел ее во сне плачущей, сам плакал, пугая тех, кто спал с ним рядом. Иногда она являлась к нему в сновидениях с распущенными седыми волосами, такими длинными, что они постепенно превращались в космы взметенного пургою снега. Космы эти опутывали его, душили, валили на землю, волокли по камням, по ледяным торосам.

Впервые в ту пору Пойгин почувствовал, что ему предопределено какой-то силой выйти на «тропу волнения».

Но кто виноват в смерти Киунэ? Имеет ли право Пойгин выходить на «тропу волнения»? Ведь только честный человек имеет право выходить на такую тропу с чувством гнева и стыда за проступки скверных. Может, виноваты отец и мать Киунэ, потому что выдали ее замуж за человека, который еще не родился? Но тогда и его отец и мать виноваты не меньше. Может, сам он виноват?

Чем беспощаднее изнурял себя подобными вопросами Пойгин, тем больше приходил к выводу, что не имеет права выходить на «тропу волнения». Но Киунэ по-прежнему являлась ему в сновидениях, иногда мерещилась наяву, манила в снежную тундру.

И Пойгин ушел, чтобы остаться один на один с мирозданием, понять, что происходит в его душе; ушел, когда утренняя заря, загорев-

шись по всему кольцу горизонта, встречалась с зарей вечерней. Это была пора полярной ночи. Солнце уже долгое время находилось вне земного мира. И только лучи его зажигали сплошной круг, обозначая рубеж страны печального вечера, рожденного из быстротечного утра. Внизу, у самой земли, рубеж вечера наполнялся темно-красным холодным огнем; чуть повыше он переходил в огонь оранжевый, потом желтый и еще выше становился зеленым. А в самом зените, в густо-синей мгле, светилась Элькэп-енэр, вокруг которой вращается все сущее в мире.

Скрипит снег под ногами. Гулко лопается от стужи лед на реках и озерах. Пойгин сдирает иней с росомашьей опушки малахая, оглядывает небо, пытаясь определить свой путь в сторону горы молчаливых великанов.

Но что это? Именно в той стороне, куда предстояло идти Пойгину, сегодня всходит луна! Пойгин знает, что нельзя смотреть на луну, но какая-то сила не позволяет ему оторвать от нее взгляд. Пока она внизу, пока окружает ее мгла, у нее совершенно иной лик — темно-багровый, ее словно кто-то безобразно расплющил. Наверное, таков ее истинный лик, это она уже в вышине неба над земным миром пытается притвориться солнцем, становится такой же круглой, как истинное светило. Но все равно у нее ничего не получается: не хватает ей жизненной силы солнечного огня, и никого она не обманет. И нечего ее бояться, если все время помнить, что есть солнце.

И все-таки Пойгину становится жутко. Луна, светило злых духов, насылала на него страх, вызывала в нем чувство неуверенности, потерянности в бескрайнем мире, где нет рядом ни одной родной души, зато всюду подстерегают злые духи.

Пойгин споткнулся о заснеженную кочку, со страхом огляделся вокруг. Их было множество, высоких кочек, на которых торчала заиндевелая жесткая трава. Вьюги вылизали в этом месте снег, и казалось, что здесь торчали головы бесчисленной толпы людей, закопанных по самые плечи в землю, вздыбились и поседели их волосы от ужаса. Возможно, что среди них где-нибудь торчит голова самого страшного земляного духа — Ивмэнтуна. Коварный этот дух нападает из укрытия, застигая свою жертву врасплох. У него черное лицо без тела, огромный рот с острыми кривыми зубами, выпученные красные глаза.

Пойгин внимательно оглядывает заиндевелые кочки, обходит стороной наиболее крупные, принимая их за страшного Ивмэнтуна. И почему эти проклятые духи так пристают к нему? Порой они являются Пойгину во сне целыми толпами, черные, как обгорелые головешки, пытаются заключить с ним согласие, чувствуя в нем человека, способного стать шаманом. Просыпаясь от кошмаров, Пойгин прогонял земляных духов заклятьями, говорил им, что ни за что не заключит с ними никакого шаманского согласия, что он обыкновенный человек и уж во всяком случае никогда не станет черным шаманом, человеком, покорным луне.

Нет, не злые духи, а благожелательные вангрит станут его неизменными помощниками. Имя их — солнечные лучи, свет Элькэп-енэр и вечное дыхание моря. Вот и все. Он научится управлять этими благожелательными существами.

Почему он отвергает луну? Это ясно, как солнечный свет. Еще дед ему говорил, что, если ты сыт не зверем, добытым тобой, а горем, беззащитностью ближних, — тебе не вынести солнца, все увидят скверность твою, и тебе захочется упрятаться в лживый свет луны. Да, возможно, тебя будут называть гаймичилином [1], но ты будешь скуден, как скуден свет луны, и неутомимый голод злобы будет жрать тебя, как ты жрешь зверя, добытого не тобою. Пойгин успел уже убедиться, насколько был прав его дед. Тот, кто расставляет капканы вымогательства, — сам сидит в капкане собственной злобы и жадности. Не таков ли отец Ятчоля, да и сам Ятчоль? Они покупают муку, чай, табак, винчестеры у чужеземцев, а потом отдают их охотникам в долг. Ятчоль молод еще, а хитрости и жадности в нем едва ли не больше, чем у его отца. Не зря его назвали Ятчолем — Лисою. Да, жаден Ятчоль и неумолим. Живот его всегда набит до отказа, однако голод все равно светится в его глазах, голод алчности. А уж как он старается прикинуться добрым, чуть ли не спасителем всех ближних, но доброта его настолько же обманчива, насколько обманчив свет луны.

Нет, Пойгин не будет просто прикидываться добрым, он такой и есть. Он не будет прятаться в лживый свет луны. Отец его спасал как мог в пору голода обреченных и сам оказался обреченным на смерть. И дед Пойгина был таким же, сам голодал, но отдавал последний кусок нерпы соседям; зато в глазах его никогда не светился голод алчности, он не пожирал самого себя жадностью, и ему дышалось легко и свободно.

Пойгин глубоко вдыхает морозный воздух, чувствуя, как и ему от светлых мыслей дышится легко и свободно. Но вот в памяти опять встает Кпунэ, и печаль возвращается к нему.

---

[1] Гаймичилин — богач.

Жжет морозом лицо, заходится дыхание от стужи, и не умолкает звон в ушах, наверное, от того, что даже сам воздух остекленел и тихо звенит, погружая в немоту все живое. Вот и Пойгин чувствует, как онемела его душа от тоски и холода. Впрочем, пожалуй, все-таки больше от тоски по Киунэ. Можно подумать, что скорбь и тоска Пойгина, вступившего на «тропу волнения», как бы превратились в лютую стужу, в великое, беспредельное молчание, в немоту застывших в глубоких скорбных думах звезд; сколько их в этом синем-синем небе, и все это глаза вселенной. Никуда не скроешься от них, не утаишь ни одной мысли. И зачем честному человеку утаивать свои мысли? Бесчестный — тот пусть прячется, пусть ищет у луны защиты — все равно окажется на виду у мироздания, как на ладони.

В той стороне, где находилась гора со стойбищем молчаливых великанов, вдруг вспыхнули огни йынэттэт — северного сияния. Сколько раз на своем веку видел Пойгин эти огни, и всегда они вызывали в нем чувство изумления и невольного страха: ведь это не что иное, как движение душ мертвецов, играющих в мяч, которым служит им голова моржа. Красный цвет — это души умерших от ножа, от пули; синий, зеленый — от удушья; белый — от заразных болезней.

Не отрывая взгляда от мерцающих огней многоцветной арки, Пойгин все ускоряет и ускоряет шаг. Вот он уже бежит легко и свободно, будто олень; иней от частого горячего дыхания оседает наледью на опушке его малахая...

Наконец пришла пора, когда Пойгин стал подниматься по горному распадку в стойбище молчаливых великанов. Он долго смотрел на вершину горы, на которой застыли еще со дня первого творения пэркат — изначальные создания творца. Как говорят древние вести, поторопился творец создать первых людей, зверей, птиц — слишком безобразными вышли; рассердившись, он превратил всех в камни, однако душу живую в них оставил.

Медленно поднимался Пойгин вверх, осторожно входя в стойбище молчаливых великанов, словно боялся нарушить их вечные думы. При звездном свете искрился иней на огромных каменных столбах. Вон тот, которого Пойгин запомнил еще с детства, — самый главный в этом молчаливом стойбище. Чуть подавшись спиной назад, он устремил взор своего каменного лика вверх, неизменно глядя на Элькэпенэр. Что он там видит? По преданию, под Элькэп-енэр есть дыра, через которую можно разглядеть иные миры, а сверхъестественные существа даже могут проникнуть в ту дыру. Возможно, главный великан этого стойбища мечтает подняться к Элькэп-енэр, проникнуть в иной мир, где он наконец одолеет проклятую тяжесть неизреченности... Да, кажется, что ему еще со дня первого творения очень хочется заговорить, всей своей громадой прийти в движение, — а никак не может.

Пойгин, всегда гонимый неясной тоской — даже в детстве, — приходил сюда, очень сочувствовал этому великану, подолгу стоял перед ним, чтобы все-таки уловить его тайную жизнь, что-нибудь подсказать ему, хоть чем-нибудь помочь. Порой ему казалось, что на каменном лике великана, искаженном какой-то жестокой мукой, вдруг разглаживались складки, словно от мимолетной улыбки. И это было огромной радостью для Пойгина. Он шумно вздыхал, выходя из оцепенения, шел дальше по стойбищу молчаливых великанов, участливо разглядывая каждого из них.

Да, он, Пойгин, пришел к каменным великанам с горем: его мучает смерть несчастной женщины Киунэ. Ему непонятно, имеет ли он право выйти на «тропу волнения», чтобы наказать зло, которое привело Киунэ к гибели? Может, сегодня он все-таки уже прошел по этой тропе? Но как бы ни было, он готов поклясться перед каждым молчаливым великаном, что никогда не станет черным шаманом. А станет ли белым — это зависит от того, насколько много он сможет сделать людям добра. Пожалуй, его больше всего может сегодня понять вон тот сгорбленный старец, который наклонился к земле, будто бы именно затем, чтобы легче было внимать гостю.

Пойгин подошел к старцу, осторожно прикоснулся оголенными руками к его заиндевелому каменному телу. Ощутив ожог раскаленного морозом камня, Пойгин не вдруг оторвал руку. Старец смотрел на него сверху вниз с молчаливым, мудрым вниманием; и когда уже было немыслимо терпеть ожог раскаленного стужей камня, Пойгин втянул руки в рукава кухлянки.

— Вот так, дедушка, не пойму, что со мной происходит, — тихо сказал он и огляделся, испугавшись собственного голоса, как-то странно прозвучавшего в ледяном безмолвии заиндевелых каменных громад. — Вышел ли я на «тропу волнения»? Победил ли я страх перед луной? Стану ли я белым шаманом?

Пойгин долго не отрывал взгляда от молчаливого старца: если хоть чуть-чуть оживет его каменный лик, если хоть тень проскользнет по нему, то этим самым он скажет: да, ты можешь выходить на «тропу волнения», ты становишься белым шаманом.

Стынут ноги, холод забирается под кухлянку, а Пойгин смотрит в лицо старца, ждет от-

вета. И вот оно — случилось! Старец мало того, что, кажется, разгладил морщинистое лицо в улыбке, — он кивнул головой! Да, да, это так, Пойгин ясно видел!

Вскинув руки, Пойгин хотел вскрикнуть от восторга, но воздержался: не надо нарушать покой молчаливых великанов, пусть думают свою вечную думу. Пожалуй, лучше дать им клятву, что никогда он не станет черным шаманом, никогда не станет просто скверным человеком. Да, надо тихо, совсем тихо дать им клятву...

Бросив сумрачный взгляд на луну, Пойгин произнес вполголоса:

— Я человек, не покорный луне. Я клянусь что не приму в душу злых духов, не сделаю их своими пособниками. Я обещаю защищать обиженных, голодных, слабых, но честных. И пусть Ятчоль, имеющий столько винчестеров, сколько пальцев на одной руке, нацелит их все в меня — я не испугаюсь и не отрекусь от солнца. Да, я человек, не покорный луне. Я сказал все.

И опять Пойгину показалось, что старец кивнул головой: значит, он поверил клятве. Пойгин глубоко вздохнул, еще раз оглядел стойбище каменных великанов каким-то уже совсем иным взглядом, словно бы обращенным внутрь себя, и медленно пошел вниз. На душе у него было легко и даже торжественно: он верил, что молчаливые великаны угадали в нем душу белого шамана...

4

Вздыхает, о чем-то шепчет Пойгин, ворочаясь на шкуре умки, идет все дальше и дальше по длинной тропе прожитой жизни. В памяти ожила вторая его жена Кайтиркичейвына — Маленькое ходячее солнышко, или коротко просто Кайти. Излечила Пойгина от страшных снов, от гнета невольной вины перед Киунэ именно она, белозубая озорница Кайти. Поначалу Пойгин ее не замечал в стойбище, потом стал удивляться настойчивому желанию девушки развеселить его. Все чаще и чаще ловил Пойгин на себе ее взгляды, порой тревожные, тоскливые, но всегда удивительно нежные.

Однажды отец девушки счел нужным предупредить Пойгина, чтобы он и думать не смел о его дочери. Однако это предупреждение подействовало на него совсем не так, как хотел отец Кайти. Пойгин словно стряхнул с себя остатки тяжкого сна и разглядел девушку проясненным взглядом окончательно проснувшегося человека. И то, что увидел он, оказалось таким солнечно-ярким, теплым, что он как бы выпрямился, помолодел, заулыбался.

Вот и сейчас он заулыбался так, будто стояла белозубая девушка с ним рядом. Нет уже давно Кайти, ушла к верхним людям. Может, и появится она снова в этом мире, если дочь родит внучку. А так она живет пока в думах Пойгина. И это диво — как она вспомнилась, словно не в памяти родилась, вместилище которой голова, а в самой крови, и стоит теперь рядом.

«Ого, вот это умирающий!» — мысленно воскликнул Пойгин, не зная, снова ли смеяться ему или ругать себя как самого легкомысленного человека, достойного беспощадного осуждения. Пожалуй, даже злые духи, которые, вероятно, уже расставили сети, чтобы поймать душу умирающего, корчатся от хохота, понимая, что с ним происходит.

— Га, ата-ата-ата! — воскликнул Пойгин, вскидывая руки вверх ладонями, — га, якай-якай-якай! Га, кыш-кыш-кыш!

Это были восклицания, отгоняющие злых духов. Хорошо бы еще в бубен как следует ударить. Пойгин сделал движение рукой, будто ударил в спасительный бубен, но это не помогло, В памяти Пойгина стояла Кайти. Вспоминалась именно такой, какой он впервые познал ее как женщину.

Шли они в тундру летней порой за горный перевал, убегая из родного стойбища, в котором родители Кайти в последнее время не позволяли им обмениваться даже взглядом: не нравилось им то, что Пойгин уже был женат, успел овдоветь и годами немало превосходил их любимую дочь. Тогда Пойгин и Кайти решили уйти за горный перевал, чтобы наняться в пастухи к какому-нибудь чавчыв[1], у которого много оленей. Пересекли благополучно прибрежную долину, опасаясь погони, вошли в горный распадок; чем выше поднимались, тем чаще останавливались, посматривая друг на друга затуманенными глазами. Несколько раз позволил себе Пойгин вплотную приблизить свое лицо к лицу девушки; он чувствовал запах ее разгоряченного тела, и это расслабляло, пьянило его, клонило к земле. И он в самом деле опрокидывался на спину, смотрел на девушку снизу вверх, не стараясь скрыть того, что с ним происходит. Девушка настороженно выпрямлялась, вглядываясь в мир с чуткостью пугливой, дикой оленихи, хотя было видно, что ей очень хотелось опуститься на колени рядом с мужчиной. У самой вершины перевала, когда Пойгин опять опрокинулся на спину, она не выдержала, осторожно опустилась рядом с ним на колени, склонила свое лицо над его лицом. Потом положила руки ему на грудь, помедлила и встала, резко оттолкнувшись. Поднялся и Пойгин.

---

[1] Чавчыв — оленный человек.

На вершине перевала они снова остановились. Долго разглядывали раскинувшуюся перед ними речную долину изумленными глазами, будто были пришельцами из иного мира. Седловина перевала оказалась уже бесснежной, вся в ложбинах, покрытых оленьим мхом. Солнце прогревало прозрачный, словно бы уходящий кверху струйками воздух. И не чувствовалось ни малейшего ветерка, не слышалось ни единого птичьего вскрика. И можно было подумать, что это всего лишь первый миг создания земного обиталища для всего живого: для птиц, зверей, людей; а он, Пойгин, и его Кайти тут были не просто людьми, а какими-то особыми существами, от которых и должно возникнуть все живое.

Земная твердь была высоко-высоко, под самым солнцем. И в душе их было высоко-высоко, и еще было тепло-тепло, как не бывает тепло даже в самом теплом пологе из оленьих шкур, где люди на ночь снимают с себя все одежды.

И Кайти высвободила смуглые руки из широких рукавов керкера [1], обнажив себя до пояса. Она была удивительно тонка в талии. Грудь ее много раз видел Пойгин, когда она, как и все женщины, обнажалась до пояса в пологе. Так было принято. Но там обнаженная грудь ее еще ни разу не увиделась Пойгином так, как сейчас.

Грудь ее была смугла и тепла, как солнце. А еще она будила мысли о свежести рассвета. Да, Пойгину Кайти навевала мысли о леворучном и праворучном рассветах, потому что желанная им женщина сейчас явилась перед ним как бы из солнечных лучей. И не зря он потом назвал свою дочь от нее Кэргыной — Женщиной из света.

Леворучный рассвет, праворучный рассвет — извечные берега реки времени, верные приметы дальних путей, символы заклинаний против злого начала. Зачатая в пору рассвета жизнь сулит будущему человеку светлое, солнечное восхождение. И хотя солнце было высоко над синими зубцами горного хребта, Пойгин видел Кайти в зареве воображаемого рассвета; пусть зачатая новая жизнь имеет предрасположение к солнечному восхождению.

Вот она перед ним, бесконечно желанная женщина, и он ничего уже не чувствует, кроме тепла и запаха ее юного тела. Грудь ее наполнена волнением будущего материнского молока. Это еще не молоко, это лишь пока волнение, которому предстоит после превратиться в молоко. О, какая тайна в том пока еще глубоко упрятанном, еще не нашедшем путь к выходу, еще не нашедшем свой белый-белый цвет материнском молоке! Само по себе оно — могучей силы добрый дух с неизменно благосклонным предрасположением. Живой, бунтующий дух материнского молока ищет выход наружу, и оттого грудь женщины становится горячей и упругой. Пойгин скорее не мыслью, а чувством впервые в жизни постиг эту мудрость: то, что было у него с другими женщинами, не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило с ним сейчас.

И сорвал с себя Пойгин одежды, чтобы обнаженным телом ощутить тело впервые так остро желанной женщины. И услышало само солнце, как нарушилась тишина во вселенной от их горячего дыхания. А когда солнце услышало тихий стон женщины — возникли вдруг радостные вскрики птиц, посвист евражек, трубный клич оленей, отчаянно радостное бормотание зайцев, добродушный волчий скулеж, будто были они и не волки вовсе, а ласковые собаки. И казалось мужчине и женщине: то был миг, после которого возникла не только их будущая дочь Кэргына, но и родилось все живое, чему было суждено обживать навечно земное обиталище.

До зимы они жили то в одном, то в другом стойбище кочевников, не вышедших на лето к морскому берегу. Но вот началась зима. Глубоко в тундру на лучшие пастбища потянулись тяжелые грузовые нарты богатых оленных людей, у которых можно было наняться в пастухи.

Пойгин и Кайти пришли однажды в стойбище Рырки — Моржа, одного из самых известных в тундре оленеводов. У Рырки были четыре жены, три из них имели собственные яранги. Самую молодую жену переселил Рырка в свою ярангу, в которой жил со старухой — первой женой, и сказал пришедшим с морского берега:

— Вот вам новый очаг. Вы мне сразу понравились. Порадуйтесь и оцените мою благосклонность к вам.

Кайти и в самом деле обрадовалась. А Пойгин, умевший угадывать поступки людей на много дней вперед, почувствовал недоброе, однако виду не подал. На вторые же сутки Рырка вечером пришел проведать Кайти, как только Пойгин отправился на ночь в стадо пасти оленей. Кайти к тому времени уже успела поставить в яранге полог [1]. Рырка велел пастухам заколоть молодого оленя прямо у входа в ярангу Пойгина.

---

[1] Керкер — меховая одежда женщин, чем-то похожая на комбинезон.

[1] У кочевых чукчей спальное помещение — меховой полог — на день из яранги убирается, а на ночь устанавливается вновь; у береговых чукчей эта часть жилища в яранге — постоянно.

— Разделай оленя и свари, — приказал он Кайти, — а пока подай мне в полог чайник, я буду греться чаем.

Кайти, чувствуя враждебные взгляды жен Рырки, быстро разделала на лютом морозе оленя (хотя это было для нее непросто, чаще разделывала нерпу), принялась варить мясо. Иногда поднимала чоургын [1], спрашивала у Рырки, не подать ли новый чайник.

— Подавай, — властно приказывал Рырка, — хотя этого я еще не допил, но он уже остывает.

Наконец сварилось и мясо. Кайти выбрала лучшие куски, подняла полог, подала хозяину.

— Иди и ты сюда, — уже более мягким тоном сказал Рырка и даже широко улыбнулся. У него было крупное лицо с тяжелыми скулами, расписанное синеватыми линиями татуировки; волосы пострижены так, что на голове оказалось четыре венчика, косичка на макушке и еще по косичке за ушами. По всему было видно, что этот мужчина считал себя красавцем, и ему, вероятно, не терпелось, чтобы Кайти поскорее оценила его достоинства.

Кайти робко забралась в полог, присела в углу, осторожно подвинула деревянное блюдо с мясом поближе к гостю. Затем повернулась к светильнику, поправила огонь и замерла, зябко ежась, хотя в пологе уже было довольно жарко. Рырка сосредоточенно жевал мясо, чавкая, не переставая разглядывать Кайти вожделенным взглядом.

— Что же ты не снимаешь керкер? — наконец спросил он. Покопавшись в блюде с мясом, он облюбовал ребрышко, протянул его Кайти. — На, ешь. У тебя всегда будет полно самого вкусного мяса. Я прикажу убивать перед твоей ярангой самых жирных оленей, если ты поймешь, что мне от тебя надо...

Кайти судорожно улыбнулась, приняла мясо, но керкер опускать до пояса, как это обычно делали все женщины в жарком пологе, тем более совсем снимать, она и не подумала.

— Сними керкер! — уже приказал Рырка, раздувая широкие ноздри. — Или хотя бы опусти его.

Кайти помедлила, нехотя опустила керкер, обнажаясь до пояса. Рырка сладострастно зацокал языком, выражая свое восхищение открывшимся перед ним чудом; протянул руку, дотронулся пальцем, лоснящимся от оленьего жира, до груди Кайти. Невольно поморщившись, Кайти вытерла сосок ладонью, отодвинулась подальше в угол. Это не понравилось Рырке.

— Как мне тебя понимать? — с капризным изумлением спросил он. — Или я тебе не нравлюсь?

Кайти промолчала, заливаясь густым румянцем и досадливо кусая губы.

— Скажу тебе прямо, — продолжал Рырка, еще шире раздувая ноздри, — если ты сегодня же не захочешь лечь со мной, я прогоню и тебя, и Пойгина из этой яранги. А вместо мяса вы будете есть один рылькэпат [1].

Лицо Кайти сначала побледнело, потом стало темным от гнева.

— Что же ты молчишь? — выходил из себя Рырка.

Кайти вдруг натянула на себя керкер, крепко завязала тесемки у разреза на груди и сказала:

— Пойду помогать мужу пасти твоих оленей.

Оторопевший Рырка даже рот раскрыл. Не успел он сообразить, чем ответить на слова Кайти, как она вынырнула из полога. Прихватив лежавший у очага малахай, Кайти выбежала из яранги, пытаясь по шуму угадать, в какой стороне пасется оленье стадо.

Мороз обжег распарившееся в пологе лицо Кайти. Сквозь густую мглу изморози едва просвечивала луна. Спотыкаясь о вывороченные оленями комья снега, Кайти пошла на шум стада. Беспрерывно слышался сухой треск прикасающихся друг к другу оленьих рогов. Звенели на разные голоса колокольчики на шеях оленей, покрикивали пастухи. «Гок! Гок! Гок!» — послышался голос Пойгина. Кайти побежала на голос, почувствовав необычный прилив жалости к Пойгину и к самой себе.

Споткнувшись, она упала и вдруг заплакала. Слезы тут же замерзали на лице, и она отогревала его ладонями. Снова послышался голос Пойгина: «Гок! Гок! Гок!». Кайти встала и опять побежала. Не заметила, как оказалась в самой гуще стада. Разгребая передними ногами снег, олени жадно выискивали олений мох — единственную пищу в это время года. Иногда к расчищенному месту сбегалось несколько оленей, и тогда переплетались их ветвистые рога — начиналась борьба. Олени поднимались на дыбы, хоркали, били копытами друг друга в грудь. Оленей было так много, что Кайти не могла разглядеть среди них Пойгина; голос его раздавался то в одной, то в другой стороне, и Кайти поняла, как быстро ему приходится бегать.

Кайти показалось, что она наконец увидела Пойгина, однако чем-то встревоженное стадо

---

[1] Чоургын — передняя стенка полога, которая служит входом, для этого ее поднимают вверх.

[1] Рылькэпат — что-то похожее на похлебку, приготовленную из желудка убитого оленя.

вдруг стремительно закружилось, взбивая снежную пыль, отчего мгла ночи стала еще гуще. Испуганная, Кайти, присев, сжалась в комочек, опасаясь, что обезумевшие олени, мчавшиеся по кругу, могут ее раздавить. Тяжелое дыхание, хорканье оленей, сплошной перестук рогов, топот копыт казались Кайти предзнаменованием какой-то неминуемой беды. Да, жизнь ее уже никогда не обретет спокойствия, все стало зыбким и страшным, как эта нескончаемая кутерьма чем-то перепуганных, взбешенных оленей.

Наконец мало-помалу олени успокоились. А Кайти все еще сидела на снегу, сжавшись в комочек, погруженная в предобморочное оцепенение. Не сразу она расслышала голос рядом стоявшего Пойгина:

— Как ты сюда попала? Что с тобой?

Кайти вздрогнула, подняла лицо, не веря своим глазам, что перед ней муж.

— Ты почему здесь? — уже догадываясь, что произошло, спросил Пойгин. — Он пришел к тебе в яранту, да? Ты слышишь, я спрашиваю, Рырка хотел...

Пойгин не договорил.

— Да,— тихо отозвалась Кайти и заплакала. — Он сказал, что выгонит нас из яранги, не даст ни кусочка мяса, если я...

— Замолчи! — прервал жену Пойгин, поняв, что его предчувствия сбылись слишком скоро.

— Он там, в нашей яранге. Я поила его чаем, кормила мясом. Но когда он...

— Не надо! — опять прервал жену Пойгин.

— Я сказала, что иду пасти оленей.

Пойгин долго молчал, потом вдруг рассмеялся — весело и неудержимо. На душе у него и вправду было необыкновенно хорошо: у него есть Кайти, Маленькое ходячее солнышко; она не просто женщина, которая варит ему пищу, шьет и сушит одежду, спит с ним под одним иниргин[1]; она стала так дорога ему, что он ни с кем не сможет ее делить как женщину, он убьет и Кайти, и себя, и того, кто посмеет принудить ее к тому, к чему пытался сегодня принудить этот гнусный Рырка. Да и не склонить ее к тому, к чему принуждал Рырка! Ни за что не склонить! Завтра же, если Рырка будет добиваться своего, они уйдут с Кайти куда глаза глядят. Ничего, что они без своего очага, зато они будут вдвоем. Слышите, олени? Они будут вдвоем! Слышите, звезды? Они будут вдвоем! Слышишь ты, гнусный Рырка? Они будут вечно вдвоем!

— Я не пойду туда, — Кайти показала в сторону стойбища. — Я буду пасти с тобой оленей до утра...

— Замерзнешь!

— Ничего. Я буду бегать, как ты. Отчего так перепугались олени?

Пойгин не ответил: несколько десятков оленей отбились от общего стада. «Гок! Гок! Гок!» — закричал Пойгин и побежал в гору наперерез оленям.

На второй день Рырка пришел в яранту, когда Пойгин был у очага. Встав перед костром, он высокомерно посмотрел на Кайти, потом перевел невозмутимый взгляд на Пойгина. Встретившись с его твердым и чуть насмешливым взглядом, он насупился, присел на шкуру у костра, вытащил из-за ременного пояса тиуйгин[1] — несколько раз ударил по рукавам роскошной кухлянки, сшитой из шкур белоснежного оленя, отороченной мехом огненной лисицы.

Кайти поставила перед гостем дощечку с фарфоровой чашкой, налила в нее чаю. Потом поставила вторую чашку перед мужем. Рырка раскурил длинную деревянную трубку с медной чашечкой на конце, благосклонно протянул ее Пойгину. Тот с достоинством принял трубку, затянулся и вернул ее хозяину.

— Пусть женщина уйдет! — приказал Рырка. — У нас будет с тобой мужской разговор.

Кайти вопросительно взглянула на мужа, тот слегка кивнул головой, мол, уйди. Когда Кайти ушла, Рырка сощурил в усмешке глаза, так что остались едва заметные щелочки, спросил:

— Она все тебе рассказала?

— Все.

— Ну что ж, ладно,— после долгой паузы ответил Рырка, больше не протягивая трубку собеседнику. Глубоко затянулся и повторил: — Ладно. Тогда я тебе скажу так. У меня четыре жены. Выбирай любую. А хочешь — всех четырех. И тогда ты будешь мой тумгынэвын[2]. Настоящий. Не так, как у меня с другими пастухами. Есть тут такие... я останусь на ночь с его женой, а он... хорошо, если получит от одной из моих жен кусочек мяса или чашку чая... Да, ты будешь мой настоящий тумгынэвын, как велит обычай.

— Мой отец говорил, что нет и не может быть у нас такого обычая,— стараясь быть сдержанным, сказал Пойгин. — Это всего лишь дурная привычка неразумных мужчин.

— Почему неразумных?

— Не хотят подумать, что произойдет по-

---

[1] Иниргин — специально выделанная шкура, которой укрываются на ночь.

[1] Тиуйгин — снеговыбивалка из оленьего рога.

[2] Тумгынэвын — товарищ по жене.

том, когда брат женится на сестре по отцу. Разве ты не знаешь, что такое проклятье кровосмешения?

Рырка выслушал Пойгина с высокомерной усмешкой:

— А тебе известно проклятье голода и холода?

— Я готов выбрать именно это проклятье! — уже не смог сдержать себя Пойгин. — Мы уйдем с Кайти сегодня же. А ты подумай, что будет, когда возможные твои дети потом окажутся женой и мужем.

— Я к тому времени буду уже в Долине предков.

— Под землей у ивмэнтунов быть тебе, а не в Долине предков! — не просто сказал, а предрек Пойгин, показывая пальцем в землю.

И повела нелегкая судьба Пойгина с Кайти из одного стойбища в другое. Действительно, проклятье голода и холода неотступно преследовало их, но они были вдвоем и потому знали, что такое счастье. Не скоро они вернулись в свое береговое стойбище...

5

Ворочается Пойгин на шкуре умки, постланной на кровати, — все бока отлежал. Может, ничего не будет в том странного, если он немножко посидит и даже походит? Хорошо бы достать из-за шкафа бубен, услышать в последний раз, как гремит он.

Поднявшись, Пойгин приложил руку к сердцу, скорее не затем, чтобы унять боль, а затем, чтобы услышать, не болит ли оно. Однако сердце билось так, будто ему не было никакого дела до великой перекочевки к верхним людям. Пойгин опустил ноги на пол, нащупал туфли из нерпичьей шкуры, любовно расшитые бисером искусными руками дочери, привстал. Удивился тому, что ноги оказались не такими и слабыми, не дрожат, кажется, можно ходить, уж до шкафа-то, за которым упрятан бубен, он доберется.

Сделав шаг, другой, Пойгин приостановился, зачем-то присел, привстал, точно так, как это делал зять Антон (зарядка называется), потрогал колени. «Хорошо бы еще в стойбище молчаливых великанов сходить», — подумал он, хотя знал, что туда идти даже здоровому, нестарому человеку нужно столько времени, за сколько солнце в майскую пору круглосуточного дня обходит весь небесный путь.

Вытащив из-за шкафа бубен, Пойгин долго оглаживал его, улыбаясь мягко и грустно. Сотворил он его из воздушных мешков моржей, благодаря которым эти звери удерживаются на воде и «лежа», и «стоя».

Напряженно вытянув шею, Пойгин чуть ударил ногтями полусогнутых пальцев в бубен, жадно вслушиваясь в едва возникший звук. О, это диво просто, что значит для Пойгина этот звук! Кажется, что возник он еще во времена первого творения и вот донесся теперь через сны и мечтания многих и многих поколений, которые уже давным-давно ушли в иные миры, оставив Пойгину способность слышать то, что когда-то слышали они. Возможно, что звуки и его бубна поплывут в будущее через сны и мечтания многих поколений, чтобы хоть слабым намеком рассказать, о чем думал он, чего он хотел, как понимал свою жизнь, как прожил ее. И еще раз Пойгин ударил в бубен, уже чуть громче, завораживая себя каким-то замысловатым ритмом. Это была речь бубна, возможно, добрый совет, успокоение или предостережение тому, кто был способен ее понимать.

Бывает, что бубен Пойгина после тихой речи вдруг разражается громким голосом на всю вселенную — от гнева ли, от радости ли. Но Пойгин больше всего любит, когда бубен его гремит на всю вселенную именно от радости, допустим, когда люди встречают после долгой полярной ночи первый восход солнца. Ударить бы сейчас в самую середку бубна, в сердце его, ударить сто, тысячу раз, услышать голос его, от которого все твое существо наполняется каким-то особым восторгом.

Пойгин, чуть побледнев, взмахивает рукой, чтобы во всю мощь ударить в бубен, чувствуя, как пронзают все его тело огненные стрелы знакомого возбуждения. Неужели он не одолеет себя, неужели бубен его сейчас заговорит таким голосом, что сюда сбежится весь поселок?

Но Пойгин все-таки одолел себя, не ударил в бубен, в самую середину его, в самое сердце, где он особенно звучен; однако пальцы его сами собой, пусть без грохота, но весело, даже озорно побежали по бубну. И что за странная прихоть? Вдруг вздумалось Пойгину (и это было с ним не однажды) сплясать танец русских людей. Как они пляшут, видел Пойгин и в кино, и наяву, в дни праздников на культбазе, на полярной станции. Желание научиться пляске русских людей было какой-то смешной болезнью Пойгина. Сначала он не видел никакого смысла в этом беспорядочном, как ему казалось, топанье ногами. В чукотских танцах всегда есть смысл: человек подражает движениям того или иного зверя или пытается намекнуть на то, что руки его — словно крылья птицы. А в пляске русских нет ничего, что на-

поминало бы иные существа, да и сам человек никогда так не ходит и не бегает. Не скоро Пойгин понял, что тут есть все-таки какой-то ритм. А раз есть ритм — значит, есть смысл. В чем он заключается? В этом и вся загадка, которую хотелось постичь Пойгину. Вот почему он иногда, оставшись один на один в доме или где-нибудь в тундре, пытался повторить пляску русских людей. У него ничего не получалось, но он не столько злился, сколько потешался над собой: вот если бы кто посмотрел со стороны — наверное, лишился бы рассудка от смеха или страха.

Выбив на бубне еще раз, как ему казалось, знакомый ритм русской пляски, Пойгин притопнул одной ногой, другой, потом отложил бубен в сторону. Прихлопнув в ладоши, он прошелся по кругу, смешно приседая, притопывая босыми ногами; белые теплые кальсоны, в которые заботливо обрядила его дочь, приспустились. Поддернув кальсоны, Пойгин еще раз попытался пройтись по кругу, выделывая ногами замысловатые петли, на которые не способен и заяц, убегающий от волка.

В этот момент и увидела Пойгина дочь. Разошедшись, он не вдруг заметил Кэргыну. Когда понял, что дочь все видела, страшно смутился, бросился к кровати, повалился навзничь, застонав и заохав.

— Что с тобой? — спросила Кэргына.

— Онемели кости, — со стоном ответил Пойгин, — хотел размяться немного. Встал с постели и вдруг почувствовал, что какие-то духи стали меня дергать в разные стороны.

Кэргына рассмеялась, и это очень обидело Пойгина.

— Ты чему смеешься? Разве не видишь, что мне совсем немного жить осталось? Ухожу сегодня же к верхним людям. — Слегка приподнявшись, Пойгин бесцеремонно уставился на живот дочери. — Когда родишь четвертого внука?

— Может, даже сегодня.

Пойгина словно мышь укусила.

— Это правда?! Но я же могу не успеть уйти в Долину предков...

— Зачем тебе туда? Я не хочу, чтобы ты уходил, — Кэргына присела на кровать, рассматривая отца повлажневшими глазами. — Подождешь, когда рожу следующего, а там и еще одного. Наверное, на этот раз у тебя будет все-таки внучка...

— Как внучка? — всполошился Пойгин. — Будет внук! Я ему уже имя придумал — Нуват[1]. Так хочет твой отец — Пойгин, который после пребывания в Долине предков снова сюда вернется.

— Но разве ты успеешь туда уйти и сюда вернуться?

— Не задавай глупых вопросов! — изображая из себя крайне рассерженного человека, прикрикнул Пойгин, а сам подумал: если родится внучка, значит, это вернется его Кайти — Маленькое ходячее солнышко.

Однако ему необходимо уйти к верхним людям сегодня же, в крайнем случае завтра: все равно настоящей встречи с Кайти у него не получится, это будет внучка, а не жена, малый ребенок, крохотная девочка, которая так никогда и не узнает, что была когда-то взрослой женщиной. Пройдет время, подрастет Кайти, станет девушкой, наверное, такой же красивой, какой была в первое свое пребывание в этом мире, полюбит хорошего парня, станет его женой... Пусть живет своей жизнью нового пребывания в этом мире, лишь бы только снова дышала, видела солнце, смеялась, радовалась мужу, своим детям. А он, Пойгин, должен поторопиться уйти к верхним людям, чтобы поскорее сюда вернуться и расти заново, вместе с его Кайти. Может, они опять станут нужны друг другу, как было когда-то?

Словом, все клонится к тому, что ему, Пойгину, необходимо поторапливаться с великой перекочевкой.

— Когда придет Антон? — спросил он, прервав свои мысли. Посмотрел на стену, где висела кинокамера, показал на нее пальцем. — Пусть возьмет эту коробку и сядет у моей постели. Как только начну уходить к верхним людям — пусть делает кино. Если человеком опять сюда вернусь, а не волком или зайчишкой, — проверю, хорошо ли он сделал, старался ли...

Кэргына молчала, глядя на отца печальными глазами. Как она похожа на Кайти: такие же белые-белые зубы, такие же мягкие глаза.

— Почему молчишь? — нарочито ворчливо спросил Пойгин, чувствуя, как вдруг ему стало жалко расставаться с дочерью. — Я знаю, о чем ты думаешь. Хочешь скажу?

— Скажи.

— Ты думаешь: что же это Антон будет сидеть возле тебя и ждать, когда ты умрешь? А если ты будешь жить еще год или два? Что ж, он так все будет сидеть со своей коробкой, возле тебя?

Кэргына судорожно улыбнулась, потом заплакала.

— Ну, ну, я пошутил, — растрогался и

[1] Нуват — возвращенный.

Пойгин, — перестань плакать. Надоел я вам, очень надоел. Антон не говорил тебе об этом?

Кэргына закрыла лицо руками, сказала сквозь слезы:

— Зачем ты так говоришь, отец? Антон любит тебя. Знаешь, как он тебя называет?

— Как?

— По-своему как-то, я и то не все понимаю. Знаю только, что в словах тех много уважения к тебе.

— Ну все-таки? Как говорятся по-русски эти слова уважения? Может, я догадаюсь об их смысле.

Кэргына вытерла слезы, сделала неопределенный жест рукой, сказала неуверенно:

— Личность — так он говорит про тебя, — светлая личность.

— Что такое личность? Слово светлая — немножко понятно, это от слова кэргыкэр, что означает по-русски свет. Что ж, хорошо, что он так про меня думает, признаюсь, мне очень приятно было про это услышать.

— И еще он тебя как-то странно называет, — Кэргына помедлила, не столько припоминая незнакомое слово, сколько боясь, что не сможет правильно произнести его, — говорит про тебя пи-ло-соф.

— Повтори еще раз.

— Пи-ло-соф.

Пойгин наморщил лоб, стараясь определить, что же такое — пи-ло-соф. Наконец спросил:

— Как ты думаешь, не таит ли в себе странное слово что-нибудь недостойное, бранное или насмешку какую?

— Что ты! — запротестовала Кэргына. — Антон не может говорить о тебе бранно или насмешливо. А еще он тебя называет гордым индейцем.

— Это я знаю, — с самодовольной улыбкой ответил Пойгин. — Мне он о том не раз говорил. Рассказывал про племя людское — индейцы называются. Живут там, далеко, на Аляске, и еще дальше...

Дверь отворилась, и на пороге появился Антон. Как много было связано в жизни Пойгина с этим человеком и с его отцом!

Увидев бубен, прислоненный к шкафу, Антон шутливо сказал по-чукотски:

— Я вижу, у нас сегодня в доме будет встреча восходящего солнца. Правда, над нашими горами его краешек покажется лишь через трое суток. Но если не терпится, можно уже сегодня как следует ударить в бубен.

Пойгин поднес руки к глазам, растопырив пальцы. Большой палец левой руки загнул.

— Да, по моему счету тоже так получается, — подтвердил он.

Зять Пойгина работал на полярной станции главным человеком по солнцу. Он следил за солнцем глазами каких-то диковинных железных коробок, что-то измерял, вычислял, записывал в толстые тетради. А потом писал про солнце ученые книги, ездил с ними в Москву.

Антон взял бубен, но ударить в него не посмел, опять осторожно поставил его у шкафа.

— Знаешь, как был бы я рад послушать твой бубен, — сказал он Пойгину, усаживаясь рядом с Кэргыной на кровати.

Был он широкоплечим, очень похожим на отца, почти с такой же кудрявой рыжей бородой. А вот глаза у него, пожалуй, от матери. Удивительные глаза; когда смотришь в них, то приходят на память море, синее небо и лучистое, теплое солнышко.

Пойгин долго смотрел на зятя и вдруг спросил:

— Что такое пи-ло-соф?

Антон изумленно вскинул брови, посмотрел на Кэргыну.

— Я ему сказала, что ты его иногда так называешь, — призналась Кэргына.

Антон улыбнулся, но тут же посерьезнел, сказал после некоторого молчания:

— Философ — это человек, умеющий думать о самом главном в жизни, он пытается понять, в чем смысл ее, и даже кое-что в ней исправить.

Пойгин приподнялся, устремляя по-детски радостный взор на дочь:

— Что я тебе говорил? Антон не мог сказать обо мне иное.

— Это я тебе говорила.

— Ну ладно, пусть ты. Дайте-ка мне бубен. Хотя нет, я сам.

Пойгин встал и, поддернув кальсоны, довольно твердым шагом подошел к бубну. Долго стоял в глубокой задумчивости, наконец сказал, горько улыбаясь:

— Нет, не могу, Линьлинь стоит перед глазами. Скорбно мне, очень скорбно.

— Ну что ж, тогда мы подождем, — сказал Антон с глубоким сочувствием. — Подождем. Хочешь, я тебе кино покажу о Линьлине? У меня есть...

— Да, да, я знаю, — сказал Пойгин, переводя взгляд на кинокамеру, висевшую на стене. — Но я не смогу пока что смотреть это кино, печаль не позволяет. Я лучше побуду один в думах о нем. Не обижайтесь.

— Когда же ты будешь есть? — досадливо спросила Кэргына.

— Когда захочу, тогда и поем. А сейчас принесите мне горячий чайник и уходите. Я буду долго идти по тропе воспоминаний.

6

Идет Пойгин в воспоминаниях по длинной тропе своей жизни, то в гору поднимается, то опускается в туманные низины. Достиг ли он самой высокой звезды мудрости? Если учесть, что его наградили Золотой Звездой как великого охотника, то, конечно, почет ему воздали большой. Но мало быть хорошим охотником; мало быть даже великим охотником. Жаль, что в самой полной мудрости человек пребывает не так уж и долго.

Но дело не только в том, что человек из малого несмышленыша постепенно становится мудрым стариком. Разве не известно Пойгину, как прожил свою жизнь его отец Нутэтэгин?[1] Предел его земли был где-то совсем близко, ну, в два, в три дня езды на хорошей собачьей упряжке. Предел этот можно представить в виде круга, в центре которого находилось его небольшое стойбище. Это стойбище для него было словно бы Элькэп-енэр в небесах, вокруг которой во вселенной все вращается. Да, Элькэп-енэр — самая твердая неподвижная точка во всем мироздании, центр всему сущему. Но как мало сущего вращалось вокруг маленького стойбища, где родился отец. Он считал десяток яранг самым главным во всем мире людским поселением. Рос он, одолевая одну гору за другой, и почти ничего не увидел больше того, что открылось его глазам, когда он понял, что в этом мире пребывает. И думалось ему, что земной мир весь ограничен этим пределом.

Значит, суть не только в том, что ты растешь, мудрее становишься. Уж его-то отец был для всех куда каким мудрым. Суть, видно, еще и в том, что сама жизнь далеко отодвинула черту предела доступного твоему пониманию мира. Да, отец был в состоянии достигнуть предел доступного ему мира в два-три перегона собачьей упряжки; а его сыну, Пойгину, для этого теперь надо лететь полсуток на самом быстром самолете. И, конечно же, Пойгин теперь не считает свой поселок центром земного мира, не считает, что это земная Элькэп-енэр, вокруг которой все вращается. Э, какая там Элькэп-енэр — просто маленькая, крохотная звездочка, затерянная в снегах и льдах на берегу студеного моря.

Может, отец его был много счастливее в своем заблуждении? Нет, Пойгин так не думает. От незнания отец его был словно олень на приколе. А сын, если уж его сравнивать с оленем, оторвался от прикола и помчался в своем знании сути вещей через горы и долины в бесконечные дали. Но разве дело только в преодолении пространства? Конечно же, главное не в этом. Э, Пойгин не счел бы себя равным по мудрости отцу, если бы не понял другое: главное в том, что если твой поселок и не Элькэп-енэр, то все равно вокруг него неизмеримо больше сущего вращается, чем тогда, когда отец все-таки считал десяток яранг центром земного мира.

Может, лучше было бы жить так, как жил его отец? Не слишком ли беспокойной стала жизнь? Но разве спокойной была она раньше? Какое уж там спокойствие, когда умирали от болезней целые стойбища. И от голода умирали. Не приплывут моржи, исчезнет вдруг куда-то нерпа — вот и все, наступает голодная смерть. Теперь даже смешно представить себе, чтобы кто-нибудь умер от голода...

...Вот, вот, с этого все и началось, когда появились иные пришельцы, прогоняющие голодную смерть.

То были годы, когда на Чукотке впервые появились советские фактории. Однажды к береговому стойбищу Лисий Хвост пришел пароход, из которого выгрузили деревянные щиты круглого дома, похожего на ярангу. Это и была фактория. Собирал дом вместе с матросами, а потом торговал в нем русский человек Степан Степанович Чугунов. Был он молод, могуч сложением, черноус, веселого и доброго нрава. Чукотского языка он не знал и потому не мог объяснить чукчам, в чем заключалась его высокая миссия. В день открытия фактории он собрал чукчей и произнес речь. Из всех чукчей поначалу он выделил Ятчоля, приметив, что тот носит рубаху, знает несколько русских слов. Не догадывался тогда Чугунов, что перед ним не только его торговый соперник, но и нехороший человек, который принесет ему впоследствии немало зла.

— Ну, вот что, Яшка, — по-своему нарек Ятчоля заведующий факторией, — донеси с полнейшим чувством, голубарь, каждое мое слово... Впрочем, вряд ли получится. Не шибко ты крупный знаток русской речи. Донеси хотя бы тысячную долю того, что я хочу сказать, чем полна моя душа. Понял?

Ятчоль подобострастно закивал головой:

— Да, да, я понимает.

Пойгин сидел на корточках у самой двери, позади всех, с видом замкнутым и мрачным: ему не нравилось, что русский торговый человек точно так же, как американцы, явно расположен к Ятчолю.

Степан Степанович прошелся за прилавком, показал на полки, заполненные товарами, и сказал, громыхая густым басом:

— Скажи им, дорогой мой Яшка, что это не просто советские товары — шило, мыло и

[1] Нутэтэгин — предел земли.

всякое там прочее. Это по-ли-ти-ка! Вас тут, понимаешь ли, грабили американские купчишки... да и русские, отродье царского режима, были не лучше. А мы их вот так, крест-накрест, пауков-толстосумов, перечеркнем к ядреной бабушке! Перечеркнем своей кристальной честностью! Переводи, Яшка, только, пожалуйста, без ядреной бабушки, это уж так, понимаешь ли, в сердцах у меня вырвалось. Я же культуру вам должен нести, свет. В этом миссия моя, высокая миссия! Я не просто, понимаешь ли, торговый работник, я тут представитель новой эры. Насчет эры я, может, хватил высоко, не понять пока вам этого прекрасного слова. Но ничего, я вас обучу. Мы еще тут кружок политграмоты откроем. Переводи, Яшка!

Ятчоль, сидя на фанерном ящике, изо всех сил пытался уразуметь, о чем говорит русский, но даже в малой степени не догадывался о смысле его бурной и страстной речи. А люди видели, что русский обращается именно к Ятчолю, ждали, что тот в конце концов объяснит, о чем хочет сказать усатый русский.

— Почему он так громко кричит? — спросил старик Акко. — Может, считает, что мы глухие? Сначала подумал — бранится, но по лицу не похоже, глаза добрые.

— Я так полагаю, что он перед началом торговли шаманит, — предположил тесть Пойгина Уквугэ.

— Ну что же ты молчишь? Переводи, Яшка, — все тем же громким голосом продолжал Чугунов. — Ну, хоть чуть-чуть... в общих чертах растолкуй...

Ятчоль с важным видом раскурил трубку, встал с ящика, прокашлялся. Чугунов, присев на прилавок, с нетерпением и величайшим любопытством разглядывал лица чукчей, надеясь, что сейчас, как только Ятчоль переведет хоть приблизительно его слова, появятся на лицах улыбки, раздадутся голоса одобрения.

— Русский просит меня, чтобы я стал его помощником, — важно сказал Ятчоль. — Он всех предупреждает, чтобы вы относились ко мне с почтением. Но я еще не знаю, стану ли его помощником. Мне надоели американцы, а теперь вот новый пришелец...

Услышав слово «американцы», Степан Степанович соскочил с прилавка, пристукнул по нему кулаком.

— Верно, Яшка! Значит, понял, что я толкую про американцев. Наконец-то мы их попросили убраться восвояси! Шутка сказать, идет восемнадцатый год Советской власти, а они тут на своих шхунах шастают. Теперь по-другому заживем мы с вами. Главное — честность, честность и еще раз честность! Советская власть весь мир покорит не чем-нибудь, а вот именно честностью!

Ятчоль выждал, когда успокоится русский, и продолжил свою лукавую мысль:

— Так вот я и говорю... надоели мне американцы. Вы думаете, почему я им помогал? Чтобы всех вас хоть немного охранить от обмана. Без меня они даже подошвы с ваших торбазов на ходу сдирали бы...

— По-моему, ты только этому у них и не научился, — съязвил Пойгин.

Слова его вызвали смех. Чугунов тоже засмеялся радостно, полагая, что у него возникает с чукчами самый сердечный контакт.

— Молодец, Яшка! Значит, все-таки донес, донес главное. Если радуются люди моим словам, значит, миссия моя начинается славно.

Ятчоль ткнул в сторону Пойгина пальцем и сказал Чугунову:

— Пойгин шаман. Пойгин плёка!

— Шаман, говоришь? А ну, ну, где он? Это даже очень любопытно... Тот вон, у самой двери? Странно, а он мне, понимаешь ли, как-то приглянулся. Вполне с виду симпатичный мужчина. И лицо серьезное. А рядом с ним кто? — указал на Кайти. — Удивительно милая женщина. Впрочем, суть не в женщине. Мне, понимаешь ли, про это и думать не к чему. У меня высокая миссия. Если начнешь на женщин заглядываться... Ты это опусти, Яшка, опусти про баб. Переводи основное.

Ятчоль понял, что русский опять разрешает ему говорить, повернулся к Пойгину:

— Ты лучше бы откусил свой язык и выплюнул собакам. Ты лучше молчи. Тебе известно, что я все время из одного конца в другой по берегу езжу. Все самые новые вести всегда первому мне в уши вползают. Есть одна для тебя самая страшная весть. Шаманов русские будут изгонять, как самых злых духов. И этот вот усатый русский за тебя первого возьмется...

— Если он станет твоим другом, то мне он, конечно, будет врагом.

— Странно, почему тебя перебивает этот серьезный мужчина? — спросил Степан Степанович, выходя из-за прилавка. Подошел к Пойгину, присел рядом с ним у стены на корточки. — Ну так что, приятель, закурим, что ли? — Протянул Пойгину папиросу. — Неужели ты и вправду шаман? Я их как-то по-иному, понимаешь ли, представляю. По-моему, мы с тобой поладим. Дай мне хоть чуть-чуть твоему языку научиться, я тебя за неделю перекую...

Чувствуя страшную неловкость, Пойгин разглядывал папиросу, напряженно улыбался; он догадывался, что русский, кажется, выказыва-

ет ему дружелюбие, и это было приятно ему. Почувствовав, как прижалась к нему плечом Кайти, глянул ей в глаза, снова повернулся к русскому и улыбнулся уже откровеннее.

— Ты вот что, приятель, уразумей, — продолжал Степан Степанович с добродушным назиданием, — уразумей одно. Если ты не эксплуататор — мы с тобой действительно поладим. Темноту твою, веру во всяких там ваших чертей, именуемых злыми духами, мы как-нибудь одолеем. Когда я сюда уезжал... меня инструктировал сам секретарь крайкома. В Хабаровске, понимаешь ли, дело было. Чуткость, чуткость и еще раз чуткость! Никаких перегибов! Я коммунист, понимаешь? Вот он, партийный билет. — Извлек из кармана гимнастерки красную книжечку. — Вот видишь, физиономия моя на фотокарточке.

Пойгин передал незажженную папиросу Кайти, покрутил в руках красную книжечку, понюхал. Чугунов рассмеялся:

— Странно, никогда еще не видел, чтобы партийный билет нюхали. Нечего нюхать, друг. Знай, у меня к вам душа чистая, без постороннего запаха. Будем друзьями. Конечно, при условии, что ты не куркуль. Ничего, приглядимся, разберемся... Давай же в конце-то концов закурим.

Осторожно взяв из рук Кайти папиросу, Чугунов отдал ее Пойгину, зажег спичку.

— Ну, ну, смелее. Вот так, как я. Вижу, к папиросе совсем не привычный. Трубки все смолите, и мужики, и бабы, и, кажется, даже дети. Будет у меня с вами мороки.

И когда Пойгин раскурил папиросу, Чугунов встал, прошел за прилавок, прихрамывая.

— За пять минут ноги отсидел, а вам хоть бы хны. Видать, привычка. Переведи, Яшка, поаккуратнее хоть немного из того, что я сказал этому серьезному человеку.

— Пойгин шаман, Пойгин плёка, — повторил Ятчоль, явно обиженный тем, что русский торговый человек ищет расположения у его неприятеля.

— Что ты, как попугай, заладил: шаман да шаман. Поживем, разберемся. Ты смотри, не нагороди чепухи от моего имени. — Степан Степанович погрозил Ятчолю пальцем. — Ты уж, пожалуй, лучше молчи, а то действительно попрешь отсебятину. Я жестами остальное доскажу.

Чугунов с чувством приложил руки к сердцу, низко поклонился. Помедлил, соображая, что можно изобразить еще, затем крепко сцепил руки, потряс над головой и объявил:

— На этом нашу торжественную часть по случаю открытия советской фактории, где вас никто и на полкопеечки не околпачит, считаю закрытой. Приступим к практическому делу. Вот у меня в полнейшем порядке товары. Чай, табак, мыло, патроны, напильники, посуда всякая. Есть даже здоровенный котел.

Чукчи заулыбались, устремились к прилавку, глаза их блестели, широкие улыбки выражали восторг.

— А вот карабин. Наш русский карабин. Он ничуть не хуже американского винчестера. Сейчас я вам это докажу со всей наглядностью.

Чугунов вышел на волю в одной гимнастерке, несмотря на холодный осенний ветер.

— Вон видите, на перекладине ваших вешалов для рыбы стоит тринадцать консервных банок. Сам специально установил и песком набил, чтобы ветром не сдуло. А сейчас посмотрите, как стреляет бывший чоновец.

Вскинув карабин, Степан Степанович выстрелил, сшибая консервную банку.

— Вот каков он, наш карабин. Я могу и в спичечную коробку попасть. Ну, а вы и подавно. Вы, говорят, тут можете даже из кочерги стрелять, как из винтовки. Ну, кто из вас смелый? — отыскав взглядом Пойгина, протянул ему карабин. — Покажи, орел, каков твой глаз, поди, в комара за километр на лету попадешь.

Пойгин принял карабин, долго его осматривал, наконец взвел затвор, неуловимо вскинул и выстрелил, сшибая вторую банку с вешалов.

Что-то радостное кричали чукчи, прыгали и смеялись их детишки. Один Ятчоль с отчужденным видом стоял чуть в стороне: его коробило, что русский торговый человек позволил Пойгину выстрелить первому.

— А ну, Яшка, отличись ты!

Ятчоль выстрелил, и еще одна консервная банка слетела с вешалов. Когда были расстреляны все мишени, Чугунов опять распахнул дверь фактории:

— Прошу! Я готов начать нашу советскую торговлю.

В пушнине Чугунов в то время еще мало что понимал и решил все шкуры принимать по самому высшему сорту. Первым с добрым десятком песцовых шкур явился Ятчоль.

— Ого! Вот это ты, брат, поднакопил мягкого золотишка! — восхищенно воскликнул Степан Степанович, встряхивая шкурку песца. Подул на ворс, припоминая, чему учили его в Хабаровске на курсах по пушному делу. — Да ты у меня, Яшка, всю факторию скупишь. Чего ты хотел бы приобрести?

Ятчоль показал на карабин. Поставив его на прилавок торчком, попросил старика Акко попридержать за ствол. Поглядывая лукаво на Чугунова, принялся укладывать шкурки пес-

цов, стараясь, чтобы одна не слишком придавливала другую.

— А ты укладывай шкурки так же, как заставляешь укладывать нас, — сказал насмешливо Пойгин и придавил шкурки ладонями, спрессовывая стопку.

Ятчоль вскинул кулаки, закричал до натуги в лице:

— Я не с тобой торгую! Ты всегда стараешься мне досадить!

Чугунов удивленно наблюдал за происходящим, наконец догадался, в чем дело.

— Понимаю, вы думаете, что я буду торговать на американский манер, — какой высоты винчестер, такой высоты и выкладывай стопку шкур. Вот сколько мне надо за карабин... одну, всего одну-единственную шкурку. — Вскинул указательный палец и повторил: — Одну, и не больше.

Когда чукчи поняли, что за карабин торговый человек берет всего лишь одну шкурку песца, то никак не могли поверить, что над ними не шутят. Потом бросились к ярангам, чтобы пустить в ход неприкосновенный запас пушнины, припрятанный на самый тяжкий случай.

Ятчоль, потрясенный необычайно выгодной торговой сделкой, поднял руку с растопыренными пальцами, потряс перед лицом Чугунова:

— Еще карабин!

— Зачем тебе два? О, даже не два, а пять! Да ты что, Яшка, никак одурел?

Красный от возбуждения, боясь, что карабины раскупят другие охотники, Ятчоль потряс пятерней и снова потребовал:

— Пять! Пять карабин!

— Э, нет, голубчик, не выйдет, — урезонивал Степан Степанович вошедшего в раж покупателя. — Уж не думаешь ли ты карабинчики перепродавать? — увесисто погрозил пальцем. — Если узнаю, что занимаешься спекуляцией, — не взыщи! Я, понимаешь ли, добр, но крут.

Ятчоль долго смотрел в лицо Чугунова, пытаясь понять странного купца. Не сумасшедший ли он? Скорее всего, очень хитрый, видно, есть в том какой-то тайный умысел, что он взял за карабин всего лишь одного песца...

7

Еще не скоро разобрался Чугунов, кто же такой по своей сути Ятчоль. А тот после долгих размышлений пришел к выводу, что русский решил обосноваться в стойбище надолго и потому не нуждается, как это было с заезжими американскими купцами, в его помощи. Это очень опечалило Ятчоля. Однако он изо всех сил старался понравиться русскому, приглядывался к его торговле, порой в душе смеялся над ним, а жене говорил:

— Не знаю, он или очень глупый — почти задаром отдает товары — или хитрый. Но в чем его хитрость? Не хватает моего рассудка понять, какие он расставляет капканы.

Внимательно следил Ятчоль за отношением Чугунова к Пойгину. И когда стал примечать, что Чугунов как-то особенно смотрит на Кайти, сказал жене загадочно:

— Если Кайти больше понравится русскому, чем ты... Пойгин станет его другом, а не я. Ты понимаешь?

Мэмэль поняла. К тому же не могла она примириться с тем, что Кайти считалась первой красавицей на всем побережье. Любила Мэмэль поговорить о своих женских прелестях, которые, по ее мнению, не оставляли равнодушными ни одного мужчину. Украшений у нее было не счесть: расшитые бисером ремешки опоясывали ее руки выше и ниже локтей, низки бус украшали шею и висели в мочках ушей, несколько медных пуговиц с двуглавыми орлами вплела она в черные косы.

После намека мужа, что ей необходимо очаровать русского торгового человека, Мэмэль долго сидела перед зеркальцем в пологе своей яранги, придирчиво разглядывая толстощекое румяное лицо. Зеркальце, выторгованное Ятчолем у американцев, было особой ее гордостью. Ни одной женщине стойбища не удавалось заглянуть в него безвозмездно: за это полагалось или разделать нерпу, или раскроить шкуру, пошить торбаза, рукавицы.

...В маленькую комнатушку Чугунова Мэмэль вошла бесшумно, сняла малахай, уселась на корточки возле порога. Степан Степанович брился. Увидев его намыленное лицо, Мэмэль рассмеялась, лукаво играя глазами.

«Вот уж не вовремя явилась гостья», — подумал Степан Степанович, торопясь добрить подбородок. Порезавшись, чертыхнулся. Увидев кровь на подбородке русского, Мэмэль участливо покачала головой, поднялась, пытаясь пальцем дотронуться до ранки.

— Э, нет, лучше не надо, — благодушно запротестовал Чугунов. — Я, понимаешь ли, лучше остановлю кровь квасцами.

Мэмэль опять уселась на корточки у двери. Приведя физиономию в порядок, Чугунов откинулся на спинку стула, внимательно вгляделся в гостью.

— Ну что, милая, купить что-нибудь надо? Пойдем. Хотя у меня вроде бы обеденный перерыв. Жрать, как пес, хочу. Жаль, нет у меня

своей поварихи... Может, ты пойдешь? Обыкновенную котлетку состряпать сможешь? Нет, конечно, уж лучше я сам буду обеды варганить. А вот уборщица мне по штату полагается. Но, пожалуй, взял бы не тебя, а Кайти. Кажется, удивительно опрятная женщина.

Услышав имя Кайти, Мэмэль надулась.

— Ну, ну, пойдем в магазин, — Степан Степанович открыл дверь, которая вела из его комнаты прямо за прилавок. — Проходи сюда. Только бы мне надо открыть наружную дверь, а то, понимаешь ли, двусмысленная возникает ситуация. Закрылся с бабой в магазине. Тут такое могут подумать, что свет не мил станет.

Степан Степанович провел Мэмэль в магазин, открыл наружную дверь.

— Ну, что тебе, чаю, спичек, табаку?

Мэмэль смущенно переступала с ноги на ногу и, как понял Чугунов, ничего покупать не собиралась.

— Странно, понимаешь ли, весьма странно, — сказал он озадаченно. — Не охмурить ли ты меня собираешься? Улыбка уж больно у тебя томная. — Показал на товары, разложенные по полкам: — Ну, выбирай, что тебе надо. Может, иголки?

Чугунов достал пакетик иголок, протянул Мэмэль. Выхватив пакетик, Мэмэль зарделась и, радостно рассмеявшись, спрятала их куда-то за пазуху керкера.

— Ну, а платить кто будет? Белый медведь? Оно, конечно, иголки — пустяк, однако...

Степан Степанович не договорил, чувствуя смущение от присутствия улыбающейся женщины.

— Ну, если больше ничего не надо, то иди, а я пойду мяса себе поджарю.

Выпроводив Мэмэль, Степан Степанович вошел в свою келью, растянулся на кровати, тоскливо глядя в ослепленное стужей, бельмастое окно. Как вышло, что он оказался здесь, на краю света? Ну, прежде всего попал в отборную десятку. В крайкоме партии ему так и сказали: из полсотни кандидатур выбрали десять. Что ж, он солдат, если приказано... Однако была еще одна причина, и очень существенная. Его жена Рита ушла к другому. Это был для Чугунова такой удар, что он убежал бы к самому дьяволу, только бы хоть немного прийти в себя. К торговле он никакого отношения не имел, работал прорабом на строительстве лесозавода и потому немало изумился, когда подступились к нему с таким предложением. Впрочем, и остальные из отборной десятки не все были торговыми работниками. Секретарь крайкома сказал им, напутствуя в дальний путь: «Прилавок — это, конечно, важно, очень важно, вы должны его освоить со всей ответственностью. Но ваш прилавок будет еще и трамплином, и трибуной. Многое вам придется делать от имени и во имя Советской власти...»

«Учтите, — говорил секретарь, — в тех местах, куда вы едете, вашими предшественниками были, как правило, отпетые авантюристы и хищники. У чукчей есть свое представление об этих людях. Ради дорогой пушнины, ради легкой наживы творились самые гнусные дела. И вот появляетесь вы — представители новой власти. Появляетесь с иной душой, иной психологией, с вашей человечностью, честностью. И это должно быть воспринято чукчами как спасение. За вами придут другие — учителя, врачи. Уже пошли в наиболее крупные поселения. Но вас мы направляем в самую глушь».

Секретарь помолчал, почему-то задержав взгляд на нем, на Степане Чугунове. Может, вдруг засомневался, достоин ли? А может, наоборот, на него особенно понадеялся?

«Я буду с вами откровенным, — продолжал напутствовать секретарь крайкома. — Вам придется нелегко. Вы не знаете чукотского языка. Надо его учить. Вы не знаете местных обычаев. Надо усваивать их. Вам потребуется особенное мужество даже в том, чтобы не захандрить, элементарно не опуститься. Не дай бог, если вы запьете. Север — он подминает слабовольных, как белый медведь. Вы должны победить этого страшного медведя».

Да, секретарь был откровенным. Вон он, косматый белый медведь, беснуется за окном. Как быстро наступила зима! Медведь этот незримо вкрался и в душу чувством одиночества. Эх, Рита, Рита, оказались бы здесь вдвоем — рай был бы в этом шалаше. А так — сущий ад. Холодно. Поддувает откуда-то снизу. Стены заиндевели. Оленьими шкурами обить их, что ли? Посуда немыта. Похоже, начинает подминать тебя белый медведь, опускаешься, Степан Чугунов, сукин ты сын...

Ругал себя Чугунов, а сам не мог сдвинуться с кровати. Да и ругал-то как-то вяло, можно было подумать, что душа его замерзает. Господи, хотя бы сверчок какой завелся, что ли...

И вдруг дверь отворилась, и на пороге опять возникла Мэмэль. И что-то непонятное шевельнулось в душе Чугунова: он и обрадовался, что порог его переступил человек, мало того — женщина, и, кажется, испугался, даже разозлился: «Только этого не хватало».

Чугунов рывком поднялся с кровати.

— Тебе что, иголок мало? Ты уж, голубушка, понимаешь ли, не ставь меня в дурацкое положение. Не знаю, насколько болтливы здеш-

ние женщины, но боюсь, что они любят посудачить так же, как все бабы на свете.

Мэмэль, улыбаясь, несмело подошла к Чугунову, осторожно погладила по его нечесаному, давно не стриженному чубу. И потемнело в глазах Степана Степановича.

— Отойди от меня, чертова баба! — вдруг закричал Чугунов, сатанея. — Я же мужик, понимаешь, мужик!..

Мэмэль испуганно отпрянула, потом опять заулыбалась по-женски вызывающе, медленно вытащила из-за пазухи меховые рукавицы, положила на пол перед ногами торгового человека и быстро ушла.

Чугунов поднял рукавицы, машинально примерил их, бросил на кровать, подумав: «Вот чертова кукла. Чего ей от меня надо? Может, все-таки взять ее в уборщицы?»

И вдруг заорал:

— Я тебе возьму! Я тебе покажу уборщицу! — Схватил засаленную сковородку. — Это что такое?! Когда ты выскребал эту сковородку? А когда пол подметал? Не помнишь? Ну так я тебе, негодяй, напомню!

И, словно чего-то испугавшись, Степан Степанович осторожно присел на кровать, бессмысленно разглядывая сковородку, которую все еще держал в руках: разговаривать с самим собой у него вошло в привычку, но чтобы орать на себя, как на постороннего человека, — это случилось впервые.

И начал мыть, выскабливать свое жилище Степан Чугунов. Вечером, после торговли, расставил несколько ламп в магазине, объявил собравшимся по его зову чукчам:

— Отныне это не только фактория, но и клуб. А может быть, и школа. Я, понимаете ли, не позволю, чтобы меня подмял медведь. Переводи, Яшка. Про медведя можешь промолчать, чтобы не было понято буквально.

Ятчоль, хитро щурясь, поглядывал искоса на свою разнаряженную Мэмэль. А она подсела как можно ближе к Чугунову, улыбалась томно и вызывающе. На сей раз в косах ее, кроме пуговиц с двуглавыми орлами, появилась увесистая пряжка с якорем и, что особенно рассмешило Степана Степановича, — корпус от карманных часов с сохранившимся циферблатом и стрелками.

— Господи, а это зачем? — дотронулся он до странного украшения.

Мэмэль засмеялась, игриво перекинула косы со спины на грудь.

А Пойгин, хоть и оценил честность нового торгового человека, никак не мог пойти с ним на сближение, полагая, что тот завел дружбу с Ятчолем. Сам Ятчоль делал все возможное, чтобы в стойбище люди думали: русский — его лучший друг. Мэмэль не стеснялась намекать об особом расположении русского к ней, показывала женщинам пачку иголок, якобы подаренную ей торговым человеком. По стойбищу пошли пересуды, дескать, бесстыжая Мэмэль всегда липла к чужеземцам, жаль, что русский, такой, судя по всему, хороший человек, не смог все-таки устоять перед ее нахальством. Кайти в пересудах участия не принимала, но на Мэмэль смотрела с величайшим презрением. Потерял для нее всякий интерес и русский, которого она поначалу, как и ее муж, сердечно приняла за честность в торговле. В магазин заходила она все реже и реже и только тогда, когда надо было что-нибудь купить. Однако, наслышавшись, что русский по вечерам не торгует в магазине, а учит считать деньги, смешит людей песнями, громкими непонятными говорениями, она не могла одолеть любопытства, пришла посмотреть, что там происходит.

Русского Кайти увидела за странным занятием. Сидел он на прилавке с какой-то коробкой в руках, у которой была длинная шея, с тремя тонкими, туго натянутыми проволочками, пальцем бил по проволочкам, от чего они издавали громкий, веселый звук, и что-то громко пел.

Чугунов давал концерт самодеятельности. Балалайку он обнаружил при очередном осмотре ящиков с товарами, которые хранились в складе, сооруженном из брезента, натянутого на деревянный каркас. Он сам, еще в Хабаровске, после некоторых колебаний сунул балалайку в ящик вместе с другими товарами и теперь был несказанно рад. Усевшись на прилавок, Степан Степанович сыграл все, что умел, а затем решил пропеть и частушки, кое-что сочиняя прямо на ходу.

Ветер дует, ветер дует,
И трещит лютой мороз,
Степка с чукчами торгует
И смешит их всех до слез.

Чукчи и в самом деле смеялись, тем более что видели: русскому это нравится, а им так хотелось ему угодить.

Если б видела Ритуля,
Развеселый я какой,
Прилетела бы, как пуля:
Здравствуй, милый, дорогой

Степан Степанович и сам смеялся, стараясь заглушить ядовитую горечь, и было трудно понять, как выдерживают струны его балалайки — так усердно он их терзал. Когда вошла Кайти, он еще несколько раз ударил по струнам, не в силах остановить своего буйного раз-

бега, а потом отложил балалайку в сторону и воскликнул:

— Смотрите, Кайти... Кайти пришла! Проходи сюда, голубушка, здесь есть место. Проходи, сейчас я научу тебя мерять вот этим метром мануфактуру. Да и деньги считать надо бы тебе научиться...

Увидев, с каким преувеличенным вниманием русский встретил Кайти, Мэмэль обиженно надулась, опустила голову, ревниво кусая губы. А Степан Степанович, развернув на прилавке ситец, принялся показывать, как отмеряют его метром.

— Смотри, смотри сюда, Кайти. Допустим, на платье тебе надо четыре метра...

И устремились к прилавку, кроме Кайти, все, кто был в магазине: спасибо русскому, он учит понимать полезные вещи, спасибо ему и за то, что в стойбище стало жить веселее.

Кайти стала звать мужа на вечера в факторию:

— Пойдем посмотрим. Русский смешной и очень добрый. Я за всю жизнь так много не смеялась, как там.

Пойгин согласился. В магазин он вошел в тот момент, когда Чугунов декламировал Некрасова, «Мужичок с ноготок» — единственные стихи, которые он помнил со школьных лет. Приветливо помахав рукой Пойгину и Кайти, он продолжал добросовестно дочитывать до конца и, когда в одном месте сбился, сказал:

— Вот, дьявол, забыл. Вы уж простите, я этот куплет начну сначала... Впрочем, перейдем к другому номеру. Сегодня произойдет у нас целое событие! Вот смотрите. Это называется балалайка. Если до сих пор наша самодеятельность, понимаешь ли, состояла только из одного меня, то нынче нас уже двое! Ятчоль научился на балалайке играть «барыню». Вот увидите, как он ее лихо наяривает. А я под «барыню» спляшу. Мне бы только чуть-чуть побольше места. Раздвиньтесь, пожалуйста. А ты, Яшка, сядь сюда, на прилавок. Итак, начинаем!

Ятчоль с важным видом долго приспосабливал на коленях балалайку, наконец ударил по струнам.

— Ка кумэй! — вырвался у Акко возглас изумления.

Степан Степанович слушал какое-то время с умилением балалайку Ятчоля, потом осмотрел торжествующим взглядом всех, кто сидел в магазине, и вдруг ударился в пляс с таким жаром, с каким не плясал даже тогда, когда женился на Рите.

— Вот так, так, моя разлюбезная Ритуля, — приговаривал он, задыхаясь. — Ты думаешь, я одурею от горя, запью! Дудки!

И снова врезал такую дробь, что пол магазина словно бы превратился в бубен.

— Все, Яшка! Спасибо, голубарь! Дай я тебя обниму и поцелую!

Увидев, как русский обнимает Ятчоля, Пойгин печально усмехнулся и тихо сказал Кайти:

— Ты можешь остаться. А я уйду. Друг Ятчоля не может быть моим другом...

Но Кайти ушла вместе с мужем, что очень расстроило Чугунова. По пути в свою ярангу Пойгин горестно недоумевал: почему русский выказывает такое дружелюбие к Ятчолю? Разве он не догадывается, что Ятчоль — тоже торгующий человек, однако торгует совсем по-другому. Хитрый Ятчоль. Поняв, что русский не позволит ему купить в фактории слишком много товаров, он начал подсылать к нему других жителей стойбища, вручив им своих песцов. Какое там своих — награбленных песцов, отданных ему теми, кто попал в его долговой капкан. Другие люди покупают за Ятчоля товары, а потом отдают ему, и он опять расставляет капканы, ловит новых должников: ведь русский в долг пока не торгует. Рассказать бы русскому... Но как расскажешь? Пора бы ему самому догадаться, кто такой Ятчоль, да, пора, если он действительно честно торгующий человек, если он к тому же человек с рассудком.

А Чугунов продолжал покорять души жителей стойбища своей сердечностью и общительностью. Все чаще и чаще он заходил в яранги, приглядывался к быту чукчей, учил язык. Начал наведываться и в ярангу Пойгина.

— Чистенько у вас, видно, хозяюшка, понимаешь ли, аккуратистка, — нахваливал он Кайти.

Степана Степановича хозяева гостеприимно угощали чаем, но вели себя сдержанно, даже замкнуто.

— Почему вы ко мне не как другие? — допытывался Чугунов. — Но вот что странно, именно вы мне больше всех и нравитесь. Нет, нет, не только Кайти, оба, понимаете, оба нравитесь. Два! Нирак! — добавил Чугунов, демонстрируя первые успехи в чукотском языке.

Как-то проехал через стойбище инструктор райисполкома и попросил Чугунова приглядеться к чукчам, найти, кого бы можно было избрать председателем сельсовета. «Только смотри, не порекомендуй шамана». И надо же было ему высказать это предупреждение. А Степан Степанович прежде всего подумал о Пойгине. «Хороший охотник, вес имеет, надо быть слепым, чтобы не видеть, как его уважают».

Да, кажется, по всем статьям подходил Пойгин для вожака сельсовета, всем решительно, если бы не называли его шаманом. Но, может, он все же никакой не шаман?

И решил Чугунов во всем разобраться самолично. Все чаще и чаще появлялся он в яранге Пойгина, разглядывал многие незнакомые ему предметы:

— Если ты шаман, то где же твой бубен?

Пойгин задумчиво вслушивался в русскую речь, сдержанно пожимал плечами, дескать, не понимаю.

— Надо бы тебе расстаться со своим бубном. На кой черт он тебе? Новая, брат, жизнь начинается. Движемся от тьмы прямым ходом к свету...

Как-то увидел Чугунов в яранге Пойгина огнивные доски. По виду своему они напоминали человека: есть голова, плечи, на лице нос, глаза, рот; на туловище много гнезд для сверла, с помощью которого добывают огонь. Не знал Степан Степанович, что в каждой яранге есть такие, как он назвал для себя, деревянные идолы. По праздникам хозяева очага смазывали их рты оленьим или нерпичьим жиром, всячески ублажали с помощью особых заклинаний: пропажа огнивных досок, имеющих суть священных предметов,— знак грядущей беды, их никогда не переносят в другую ярангу, не отдают в подарок.

Степан Степанович долго крутил в руках одну из досок с мрачным, подавленным видом.

— Э, я вижу, ты и вправду шаман, если держишь в своей яранге этаких идолов. Что же нам делать? Я же собираюсь, брат ты мой, дать тебе серьезную рекомендацию. Мне, брат, нельзя ошибиться, не затем я сюда послан...

Пойгин покуривал трубку, пытался понять, чем расстроен русский.

— А что, если мы, дорогой ты мой, пустим их на дрова? Вот взял бы ты сам да и сжег своих идолов посредине стойбища, чтобы все видели. Знаешь, какое бы это произвело впечатление! От сплетен, что ты какой-то там шаман, и следа не осталось бы...

Чтобы хоть как-то донести свою мысль, Чугунов поморщился, показывая, насколько ему не нравятся деревянные идолы, постучал одним о другой, показывая, что их надо изломать. И когда он, выбрав самого крупного идола, сунул его на миг головой в костер, горевший посреди яранги. — Кайти вскрикнула, а лицо Пойгина стало серым.

— Э, да я, кажется, что-то не то сделал. Никак, понимаешь ли, испугал вас. Черт его знает, на какой козе к вам подъехать...

Кайти подошла к Чугунову и с враждебным видом вырвала из его рук огнивную доску.

Натолкнувшись на глухую враждебность, Чугунов ушел из яранги Пойгина раздосадованный и встревоженный.

Поздним вечером Степан Степанович опять вошел в ярангу Пойгина, забрался в полог. Всевидящий Ятчоль, прихватив Мэмэль, явился вслед за русским.

— Я пришел в твой очаг, хотя ты и не звал меня,— несколько вызывающе сказал он Пойгину. — Я должен помочь русскому поговорить с тобой. Он очень на тебя сердится...

— Можешь ему передать, что я на него еще больше сержусь,— мрачно ответил Пойгин.

Ятчоль с трудом скрыл, насколько он обрадовался. Усевшись в углу полога, он внимательно посмотрел на Чугунова, приветливо улыбнулся.

— Нет палалайка, париня ната.

— Подожди ты со своей балалайкой, не до «барыни» мне. И на кой шут, понимаешь ли, ты приперся со своей благоверной? Без вас обошлись бы.

— Русский говорит, что ты плохо покупаешь. Купил всего лишь один карабин, напильник да две плитки чая,— беззастенчиво лгал Ятчоль, стараясь поссорить Пойгина с торговым человеком.

— Ему бы лучше знать, как ты все его товары скупаешь чужими руками. Скоро вся фактория окажется в твоей яранге. Голода будешь ждать, чтобы капканы людям расставить...

— Ну, вот что, по тону вашему и по взглядам я вижу, вы опять ругаетесь! — сказал Степан Степанович и положил одну руку на спину Пойгина, вторую на спину Ятчоля. — Пора вам мириться. И вообще, давайте жить веселее. К черту споры, нытье. Я сегодня покажу вам свой коронный номер. Опробую на вас. А завтра вечером в фактории выйду, понимаешь ли, на широкую публику.

У Чугунова действительно был «коронный» номер: не однажды он выступал на вечерах самодеятельности как фокусник. Был целый год в его жизни, когда он работал в цирке конюхом (лошади были его страстью), приглядеался к фокуснику, кое-чему у него научился.

Привычно подтянув рукава гимнастерки, Степан Степанович поднял руки, показал два красных шарика.

— А ну, друзья, расширьте ваши милые зенки. Сейчас вы увидите чудеса. Видите шарики? Хоп! Где же они? Куда запропастились?

Чукчи, изумленные исчезновением шариков, с недоумением переглядывались, не выражая пока ни малейшего желания рассмеяться.

— Так, сейчас, сейчас, дорогие мои, я все-таки вас пройму. Вы у меня, голубчики, все равно захохочете. Так где же шарики? — Чугунов пришлепнул себя ладонью по левой щеке, и вдруг изо рта его выскочил шарик, пришлепнул по правой — выскочил второй. «Чудотворец» ждал оживления, смеха, но зрители его словно окаменели.

— Да вы что?! — удивился Степан Степанович. — Не произвело ни малейшего впечатления?! Ну хорошо, я вам еще кое-что покажу.

Достав из кармана треугольные лоскуточки разноцветного шелка и лист бумаги, Чугунов сделал бумажный кулечек, вложил в него один за другим все лоскуточки.

— Прошу вас, прошу удостовериться! — показал кулечек, предлагая убедиться, что лоскутки все до одного именно там, а не где-нибудь в другом месте. — Внимание, внимание и еще раз внимание!

Чугунов смял кулечек, развернул бумагу — лоскутков не оказалось.

— Ка кумэй! — наконец нарушил молчание Ятчоль.

— Ну, а теперь поищем, где же наша пропажа.

«Чудотворец» сделал вид, будто принюхивается. Неуловимым движением нырнул рукой за ворот керкера Мэмэль и вытащил оттуда синий лоскуток.

Мэмэль вскрикнула и в ужасе отшатнулась. Пойгин как-то неестественно выпрямился, влип в стену полога спиной. Степан Степанович глянул на Кайти и поразился тому, насколько она побледнела.

— Да что с вами? — в недоумении спросил он. — Чего вы так испугались?

Помедлив, он нырнул в рукав приспущенного керкера Кайти и вытащил оттуда зеленый лоскут. Кайти шарахнулась в угол полога и задрожала так, будто настал ее смертный час.

— Э, вот беда-то, я, кажется, вас напугал. Ну и суеверный же вы народ. Хотел, понимаешь ли, насмешить, а вышло наоборот. Ну, хорошо, может, хоть вот этим я вас все-таки рассмешу. Целый день трудился, консервные банки резал. — Чугунов развернул бумажный сверток. — Вот видите, рогатый чертик. А тут вот я ниточки в дырки продел. Если ниточки дергать, чертик будет плясать, как сумасшедший. Я сам хохотал... Приготовились! Жаль, балалайку не прихватили. Хорошо бы этому бесу поплясать под балалайку...

И пошел, пошел плясать чертик.

— Ишь как выкаблучивает, словно живой, — весело выкрикивал Чугунов, надеясь, что уж на сей раз он рассмешит своих зрителей.

Но вместо смеха послышался крик женщин. Ятчоль закрыл лицо малахаем и начал икать. А Пойгин, напряженно наклонившись к замершему чертику, смотрел на него так, будто было перед ним какое-то омерзительное существо, которое надо схватить и поскорее вышвырнуть из яранги.

— Ну, знаете, если вы и этого испугались, то я вам не завидую. — Чугунов поднес чертика к лицу Пойгина. Тот отшатнулся. — Да вглядись, вглядись, чудак человек, это жесть. Банка консервная!

А чукчи увидели в жестяном чертике не обрезки консервной банки, а железного Ивмэнтуна. Весть о том, что Чугунов выпустил в яранге Пойгина железного Ивмэнтуна, разнеслась по всему стойбищу. Именно это пугало больше всего. Ятчоль и Мэмэль ходили из яранги в ярангу, дополняя свои жуткие рассказы все новыми и новыми подробностями. Теперь они отказывались от славы лучших друзей торгового человека. И поскольку русский свое колдовство показал именно в яранге Пойгина и Кайти, стало быть, им и отвечать за страшные последствия, которые грозят теперь стойбищу. В рассказах Ятчоля и его жены было столько невероятного, что жителей стойбища обуял ужас. Услышав, что в яранге Пойгина гремит бубен — ударили в бубны перепуганные люди у всех остальных очагов.

Плыла луна в мглистой дымке полярной стужи, как бы выискивая в беспредельных снежных пространствах именно то тревожное место, где гремели бубны и выли собаки. Казалось, что полярное безмолвие взламывалось грохотом бубнов, как от шторма взламывается лед в океане.

Колотил в бубен Пойгин, заунывно вытягивая осаженным голосом: «О-о-о, го-го-го, о-о-о, го-го-го!». Кайти вытирала пот на лице мужа, на которое время от времени наплывала мертвенная бледность. «О-о-о-о! Го-го-го-го! О-о-о-о! Г-го-го-го!» — не умолкал Пойгин и колотил самозабвенно в бубен. Ждать защиты можно было лишь от бубна, только от него. Кайти следила за костром. Тусклый огонек его освещал шатер яранги, в котором толпились тени. Кайти со страхом смотрела, как двигались тени, и ей чудился железный Ивмэнтун.

Чугунов собирался уже было улечься спать, но грохот заставил его быстро одеться. Когда он выбежал на улицу, то испытал что-то похожее на ужас: в каждой яранге гремел бубен. «Да они все тут шаманы, что ли?» Подойдя к яранге Пойгина, он осторожно открыл ее вход, заглянул вовнутрь. При тусклом свете костра колотил в бубен Пойгин. Степан Степанович шагнул в ярангу, громко спросил:

— Ты что, шаманишь?

Пойгин на какое-то время замер, глядя неосмысленными глазами на русского, а когда наконец понял, кто перед ним, показал рукой на выход.

— Уходи! — прохрипел он. — Уходи отсюда. Ты обидел хранителя моего очага, ты сунул его голову в огонь. Ты выпустил в моем очаге железного Ивмэнтуна!

— Ну что ты бранишься? — попробовал было перевести разговор на благодушный, примирительный тон Чугунов, но, увидев, как снова ударил в бубен Пойгин, махнул рукой и вышел вон.

Плыла луна в раскаленной морозом небесной мгле, давились лаем собаки. Чугунов потуже завязал шарф на шее и с тоскою сказал, обжигая морозным воздухом горло:

— Эх, Рита, Рита, знала бы ты, как я опростоволосился. А еще говорил серьезным людям, что миссию свою понимаю...

...На следующий день Чугунов стал свидетелем события, смысл которого никак не мог понять. Пойгин разобрал свою ярангу и вместе с Кайти начал по частям увозить на нарте, в которую они сами впряглись, далеко в море. По стойбищу ходил важный, с каким-то мстительным выражением на лице Ятчоль, громко отдавал распоряжения, кое на кого покрикивал. «О, да он здесь, кажется, имеет какую-то власть, — пришел к неожиданному открытию Степан Степанович. — Не куркуль ли он?»

Чугунов видел, что рядом с ярангой Ятчоля давно уже появилось что-то похожее не то на землянку, не то на погреб; не знал он, что это был склад, в котором хранилось немало товаров, перекочевавших с фактории. «Надо бы поинтересоваться, что у него там хранится», — сказал себе Степан Степанович, томимый подозрением, что Ятчоль совсем не тот, кем он ему до сих пор казался.

А Пойгин между тем перевозил последние остатки своей яранги в морские льды. Чугунов подходил к нему несколько раз, пытался заговорить, но тот смотрел на него отстраненным взглядом, так, будто перед ним было пустое место. Чугунов ушел в морские льды по следу нарты Пойгина, увидел разбросанные шкуры, жердины каркаса яранги, домашнюю утварь, посуду и даже карабин, купленный недавно в фактории. «Они что, сумасшедшие? Даже новый карабин выбросили».

К той поре, когда сумерки жидкого рассвета начали гаснуть, Степан Степанович увидел, что Пойгин и Кайти на упряжке всего из четырех собак едут прочь от берега в тундру.

— Куда они уехали? — спрашивал Чугунов у Ятчоля, с тоской наблюдая за удаляющейся нартой.

Ятчоль с бесстрастным видом сосал трубку, смотрел вслед Пойгину и Кайти и молчал. С таким же бесстрастным видом молчали и все остальные жители стойбища, наблюдавшие за уходящей нартой.

— Вы что, их выгнали?

— Пойгин шаман. Пойгин плёка, — не глядя на русского, ответил Ятчоль.

— Мы еще посмотрим, насколько ты, голубчик, хорош. Тут что-то нечисто!

Не знал Чугунов, насколько близок он был к истине в своей догадке. Имея над жителями стойбища немалую власть, Ятчоль убедил стариков, что очаг Пойгина стал нечистым.

— Пусть он разбросает во льдах свою ярангу и все, что в ней было. Море проснется и унесет осквернённый железным Ивмэнтуном очаг, и тогда стойбищу не будут угрожать несчастья от злых духов. А Пойгин должен будет навсегда покинуть стойбище Лисий Хвост.

Ятчолю было важнее всего убедить в этом отца Кайти — Уквугэ. Именно он скажет Пойгину о решении всех стариков стойбища. Да, мол, так порешили старики, а не он, Ятчоль. И если Пойгин действительно белый шаман, которому дороже всего не собственная судьба, а судьба ближних, — он должен исполнить повеление стариков. Именно на это надо упирать. Если Пойгин не согласится — станет ясно, что, мол, так порешили старики, а не он, Ятчоль, избавится от его досаждающего соседства.

Уквугэ долго думал, как ему поступить. Да, он слишком много был должен Ятчолю, к тому же не исчезла у него глухая обида на Пойгина, который увел в свое время его дочь, сделал своей женой без всякого на то разрешения ее родителей.

— Я скажу ему о решении стариков, — наконец объявил он Ятчолю. — Пусть уходит один. А дочь будет жить в моем очаге.

— Ты мудро решил, старик. Не отдавай Кайти Пойгину, — сказал Ятчоль и подумал: «Быть ей второй моей женой».

Но Кайти не согласилась оставить Пойгина. Уквугэ долго смотрел в ее печальное и непреклонное лицо и сказал:

— Можешь уходить с ним, как ушла тогда, когда я запрещал тебе даже смотреть на него.

Пойгин ушел из стойбища Лисий хвост в тундру, ушел белый шаман, не желая, чтобы над ближними висело проклятье его осквернённого очага. Ушла с ним и Кайти. Русский долго с тоской смотрел им вслед. Что-то симпатичное Степану Степановичу было в этих людях, и если бы он знал чукотский язык — все могло

бы кончиться, как ему думалось, совсем по-другому.

«Надо, надо учить язык, — убеждал себя Чугунов. — Поеду за двести километров на культбазу, там мне помогут».

Вечером Степан Степанович опять собрал все стойбище в фактории. На сей раз он был задумчивым и очень серьезным.

— Ната палалайка, париня ната! — весело воскликнул Ятчоль, желая отпраздновать победу над Пойгином.

— Балалайка — это, конечно, хорошо, — в глубокой задумчивости ответил ему Степан Степанович. — Но с балалаечкой я далеко не уеду. Нужны вещи куда посерьезнее...

Окинув Ятчоля угрюмо-насмешливым взглядом, Чугунов вытащил из-за прилавка огромные буквы, которые он сам нарисовал на квадратных картонках, и сказал:

— Грамоте я вас, может, и не обучу. Это сделают учителя, которые скоро придут в ваше стойбище. Но вот писать свое имя... этому я вас научу...

8

И опять ветер невзгод погнал Пойгина и Кайти в глубокую тундру у отрогов Анадырского хребта, куда уходили от советских порядков самые богатые оленеводы, шаманы. Оказался там и Рырка. Со злорадством встретил он Пойгина:

— Ну что, далеко ли ты от меня убежал?

— А я не к тебе вернулся, — ответил Пойгин, угрюмо разглядывая других богатеев, собравшихся в стойбище Эттыкая — Собачки.

— Не говори ему обидных слов, — миролюбиво посоветовал Эттыкай Рырке. — Все мы здесь беглецы, надо ли нам ссориться?

Эттыкай был маленьким невзрачным старичком, с голоском тоненьким, как у женщины. Но он был богат, очень богат. Пойгин знал, что, хотя у Эттыкая и была жена, всю женскую работу по хозяйству делал мужчина, которого звали Гатле — Птица. Высокий, нескладный, он ходил в женской одежде, заплетал волосы по-женски в длинные косы. Жил он в голоде и холоде, почти не бывая в пологе яранги. Пойгин знал этого несчастного человека и раньше, глубоко ему сочувствовал и никак не мог понять: почему он не снимет керкер, не обрежет косы и не уйдет как можно дальше от мучителя «мужа», которому просто нужен был раб.

Эттыкай установил в своей огромной яранге второй маленький полог, поселил в него Пойгина и Кайти.

Пойгин начал пасти стадо Эттыкая, радуясь тому, что никто не преследует Кайти. Мало того, старуха Эттыкая, никогда не имевшая детей, кажется, приняла ее как родную дочь. У старухи было смешное имя: Мумкыль — Пуговица. Всегда с добродушной улыбкой на сухоньком лице, она была, однако, очень жестокой с пастухами, их женами, издевалась над Гатле, заставляя его выполнять всю тяжелую женскую работу по очагу, да и мужскую тоже.

Рырка кочевал где-то рядом, часто приезжал к Эттыкаю. Почти каждый день приезжали другие богатеи, несколько шаманов, один из них черный шаман, издавна поклонявшийся луне: Вапыскат — Болячка, был он весь в чесоточных болячках, часто мигал красными веками, обезображенными трахомой. Разъедаемый чесоточным зудом, он ненавидел все мироздание и, если бы на то была его сила, кажется, сдвинул бы с места даже Элькэп-енэр.

Долгое время самые главные люди тундры не посвящали в свои разговоры Пойгина, держали его на расстоянии от себя, как и всех пастухов-батраков, но вот однажды Мумкыль сказала ему:

— Войди в полог. Тебя приглашают.

Пойгин забрался в полог. Тут было душно от десятка выпитых чайников чаю, от неугасающих курительных трубок. Как и полагалось неименитому гостю, Пойгин сел в углу, у самого входа.

Ему дали чашку с чаем, потом кусок мяса. Пока никто к нему не обращался, просто разрешили слушать, о чем тут идет речь. Больше всех говорил Вапыскат, время от времени нещадно раздирая свое тело ногтями.

— У Моржового мыса русские построили огромное вместилище для людей — культпач[1] называется. На самом верху на палке прикрепили кусок красной ткани.

— Ка кумэй! — изумился Рырка. — А еще говорят, что внутри этого вместилища для людей нет ни одной шкуры, всюду дерево, как войдешь — все бока пообиваешь.

— Бока — это еще бы совсем не беда, — продолжал Вапыскат, унимая кашель от глубокой затяжки из трубки, предложенной Эттыкаем. — В культпач людям мозги отбивают!

— Ка кумэй! — еще более потрясенно изумился Рырка. — Бьют по голове?! Чем бьют? Камнем, железом, кулаками?

— Словами бьют, — терпеливо выждав, когда умолкнет Рырка, пояснил Вапыскат.

Наступило глубокое молчание. Почувствовав, какое произвел впечатление, Вапыскат зло засмеялся:

— Тебе, Рырка, и скалой из головы мозги не вышибить. Вот есть такие особые слова.

---

[1] Культпач — культбаза.

Русские знают эти слова. На детей они очень действуют. Собрали русские в культпач детей, усадили за какие-то деревянные ящики и заставляют слушать эти страшные слова. Русский говорит, и все должны слушать. Даже пошевелиться не смей.

— Ну как же так, а если вошь тебя укусит? — спросил Рырка. — Или вот как тебя, Вапыскат, болячки донимают, если почесаться надо?

— Все равно сиди и не шевелись! — сделав страшное лицо, ответил Вапыскат. — Дышать и то надо совсем тихо. Слова особые через уши в мозг проникают. И дети наши разговор русских постепенно начинают понимать и, что еще страшнее, постигают язык немоговорящих вестей.

— Это еще что такое? — спросил Эттыкай тоненьким голоском, полным крайнего удивления и страха.

— Беда это, беда! — все более возбуждался Вапыскат. — Дети наши могут разучиться обыкновенному человеческому разговору. Язык немоговорящих вестей, разговор по бумаге, сделает их совсем немыми, возможно, даже глухими. Не нужен им будет ни язык, ни уши.

— Ка кумэй! — заревел Рырка густым, простуженным басом.

— Русские делают наших детей ненавидящими своих родителей. Вот почему я и сказал, что они не камнем, не железом, не кулаком, а словом мозги отбивают. — Вапыскат постучал себя кулаком по голове. — Дети наши начинают жить совсем другими обычаями, одеваются в чужую одежду. Девочек заставляют говорить по-мужски, потому что немоговорящие вести по-женски говорить не умеют [1].

Тут уж и Пойгин воскликнул: «Ка кумэй!»

Это все приметили и, видимо, оценили, потому что Вапыскат протянул ему свою курительную трубку.

В этот раз у Пойгина ничего не спрашивали, ничего ему не предлагали, просто дали понять, что ему оказана честь посидеть вместе за важным разговором с самыми главными людьми тундры. Но он понимал, что все это не случайно.

Вести с морского берега по-прежнему приходили одна невероятней другой. Оказывается, начальник культпач носит огненную бороду, так что если до нее дотронуться — можно обжечься. Вапыскат уверял, что Рыжебородый и прибыл из каких-то дальних земель, чтобы в здешних детей вселить безумие. А что может быть страшнее, чем безумный человек? Как он будет пасти оленей, запрягать их, совершать перекочевки? Оленьи стада разбегутся, не будут дымиться костры яранг — придет запустение, наступит всеобщая погибель.

Пойгин питал отвращение к черному шаману, не верил ему, однако его душа начинала приходить в смятение: что если все к тому и клонится?

Главное — люди тундры все чаще приглашали Пойгина на свои советы. Постепенно он стал понимать, что рано или поздно его заставят вступить в противоборство с пришельцами.

В ночь Пойгин не уходил пасти оленей: не его был черед. Залез в полог мрачный, неразговорчивый. Кайти осторожно спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Нет, нет, — постарался он успокоить жену. — Позови Гатле.

— Мумкыль злится, что мы впускаем на ночь Гатле. Говорит, что его место с собаками в шатре яранги.

— Там ее место! — взорвался Пойгин. — Позови Гатле. Я не могу спокойно спать, когда он дрожит на холоде.

Гатле на зов Кайти просунул голову в полог, смущенно улыбнулся.

— Вас будут ругать за меня, — тихо сказал он и зашелся в удушающем кашле. — Мне бы только маленький кусочек мяса. Сегодня почти ничего не ел.

Пойгин мучительно поморщился, страдая за этого несчастного человека, решительно повторил:

— Лезь в полог. Если будут ругать — вместе уйдем отсюда.

— Нельзя. Убьют.

— Да, здесь это могут, — думая о чем-то другом, как бы только самому себе сказал Пойгин.

Гатле все-таки несмело забрался в полог, снова закашлялся. Приняв кусок мяса из рук Кайти, начал жадно жевать, поглядывая на чоургын, закрывающий вход в полог: боялся появления Эттыкая или Мумкыль. Тело его тряслось в ознобе.

— На, попей чаю, согрейся, — сказал Пойгин, протягивая Гатле железную кружку.

Зубы Гатле зацокали о край кружки. Измученное лицо его ничего, кроме обреченности, не выражало. Он не привык к людскому участию, слезы благодарности наполняли его печальные глаза.

— Меня еще никто здесь не принимал за человека, — торопливо сказал он, боясь, что кто-нибудь помешает ему выразить его боль. — Только вы напомнили мне, что я человек.

---

[1] У чукчей есть фонетическое различие в произношении многих слов мужчиной и женщиной.

Иногда мне кажется, что я должен был появиться в этом мире собакой, но случилась какая-то ошибка, и я вот пребываю здесь в человеческом облике.

— Кто тебя заставил надеть женскую одежду, отрастить косы? — спросил Пойгин.

Гатле жалко улыбнулся, развел руками:

— С детства меня стали одевать в керкер. Мой отец был пастухом у Эттыкая. Почему-то Эттыкай его очень не любил. Мы почти не ели мяса. Жили на одном рылькэпате. Пришла большая болезнь, многие люди в стойбище умерли, отец и мать умерли. Мне совсем стало плохо. Эттыкай сказал: ты хилый, мужчина из тебя не получится, будешь женщиной. Вот тебе керкер. Если хоть раз наденешь штаны — выгоню в тундру и скажу, чтобы никто тебя не подбирал. Холод вымморозит твою кровь из жил или волки съедят тебя. Так и живу с тех пор.

...На следующем совете, когда собрались все самые главные люди тундры, Эттыкай сказал Пойгину:

— Мы все много думали и пришли к такому согласию: ты нам очень нужен... Ты больше нас знаешь пришельцев. К тому же один из них осквернил твой очаг железным Ивмэнтуном и сунул в костер голову главного хранителя очага. Я думаю, ты должен ненавидеть осквернителя.

Пойгин промолчал, как бы прислушиваясь к самому себе: точно ли он ненавидит русского торгового человека?

— Так вот, мы хотим знать... думаешь ли ты простить свою обиду осквернителю?

Пойгин долго разглядывал Эттыкая отсутствующим взглядом и наконец ответил:

— Я посмотрю, как он будет жить у нас дальше. Я не могу забыть, что он честно торгующий. Никто так с нами не торговал, как торгует он.

— Ты сам ему продаешься! — вскричал доселе молчавший Вапыскат.

— Я не продаюсь ни ему, ни вам.

— Нет, ты должен выбрать... или пришельцы, или мы! — воскликнул Рырка и сначала ткнул пальцем куда-то выше головы Пойгина, затем себе в грудь. — Ты слышал, что говорит Вапыскат о Рыжебородом? Этот пришелец вселяет в наших детей безумие. Какой же ты белый шаман, если намерен прощать такое страшное зло?

— Да, я белый шаман. Я не прощаю зло. Но я должен сам убедиться в правоте слов Вапыската...

— Вот и хорошо. Ты поедешь к Рыжебородому, — сказал Эттыкай, с тревогой поглядывая на черного шамана: ему казалось, что Вапыскат опять вот-вот взорвется.

— Ты поедешь и убьешь его! — сказал Рырка, сделав движение, будто он вскидывает винчестер.

— Я ничего не делаю по чужому наказу. Если я пойму, что Рыжебородого надо убить... я сделаю это без вашего повеления.

— Хватит! Мне надоело слушать этого нищего анкалина! — вскричал Вапыскат. — Его надо выгнать из наших мест. Пусть подохнет с голода в тундре. А жену его заберу я. Мне мало уже моей старухи.

Пойгин какое-то время с негодованием смотрел на черного шамана и вдруг расхохотался:

— Тебе мало твоей старухи?

— Да, мало! Мы изгоним тебя. Ты трус. Я сам накажу Рыжебородого. Я нашлю на него порчу. Он умрет от язв, которые будут куда пострашнее, чем мои язвы.

Вапыскат считал, что какой-то другой шаман наслал на него порчу, оттого он покрылся болячками; и если до сих пор не пришла к нему смерть, то лишь потому, что он сильнее своего тайного противника и поэтому способен, несмотря ни на что, поддерживать в себе жизненную силу.

— Да, я заставлю Рыжебородого умереть в мучениях от язв. Мне нужно заполучить хоть малую часть его ногтя, хоть один волос из его бороды.

На лицах главных людей тундры было откровенное раздражение.

— Ждать, когда Рыжебородый умрет от язв, — слишком долго, — сказал Рырка. — Пусть лучше умрет побыстрее от пули Пойгина.

— Неужели вы думаете, что на такое способен этот трус? — Вапыскат ткнул пальцем в сторону Пойгина.

— Я не трус. Я завтра же поеду на морской берег и посмотрю на Рыжебородого. Я это сделаю не потому, что вы велите, а потому, что сам хочу понять, с чем он к нам пришел. И горе будет ему, если он принес зло...

— Я не верю, что Пойгин трус, он отважный мужчина, — сказал льстиво Эттыкай. — Пусть едет на берег, пусть поступает по велению собственного разума. А мы подождем...

На культбазу Пойгин прибыл на собаках в конце третьих суток. Закрепив нарту у какого-то низенького строения, он пошел бродить среди жилищ с огромными окнами, за которыми не чувствовалось никакой жизни. Окна эти напоминали Пойгину внимательные недобрые глаза, следившие за каждым его шагом. Жилища казались ему огромными и страшно неприютными. Да, он уже видел дом факто-

рии, но тот был круглым и все же напоминал ярангу.

Медленно переходил Пойгин от жилища к жилищу, пытаясь хоть в малой степени постигнуть тайну их незнакомой жизни, но пока, кроме отчужденности и глухой вражды, ничего не чувствовал.

Подул ветерок. Над самым большим жилищем затрепетал прикрепленный к шесту кусок материи. Долго смотрел Пойгин на этот непонятный для него знак, видимо, имеющий для здешних обитателей какую-то особенную силу. Может, он выполняет роль хранителя очага? Возможно, что своим движением, получив силу любого из ветров, он отгоняет враждебных духов? А что, если на знак этот нельзя смотреть долго, как и на луну? Однако странно, что он все-таки имеет скорее цвет солнца, а не луны.

Где же здесь заночевать? Постучать во вход одного из деревянных вместилищ? Нет, лучше переспать в снегу. Хорошо бы разжечь костер, вскипятить чаю, погреться. Но где взять сухих сучьев?

Пойгин подошел к высокому шесту, подумал, что надо бы срубить его, исколоть. Но это же не просто дерево, которое выросло здесь; такие деревья вырастают где-то далеко, их стволы иногда приносят сюда морские волны. Значит, шест этот вкопали в землю люди. Зачем? Видимо, на то есть причина. Не на этом ли месте, как рассказывал Вапыскат, Рыжебородый вселяет в детей безумие? Может, потому и следует срубить шест? Почему бы не послать Рыжебородому вызов именно таким способом? Надо все хорошо обдумать, но сначала необходимо накормить собак.

Когда собаки свернулись в комочки на сон, Пойгин вытащил из нерпичьего мешка небольшой походный топорик и решительно направился к шесту. Обошел вокруг него, чуть ударил обушком по стволу. Мерзлое дерево отозвалось глухим звуком. От верхушки шеста почти до самой земли шла веревка. Пойгин дотронулся до узла на большом гвозде, на котором внизу закреплялась веревка. Странно, зачем она? Может, это прикол для оленей? Но почему такой высокий?

Пойгину вспомнился рассказ Вапыската о том, как на высокий шест по утрам дети поднимают кусок красной материи. Наверное, потому и нужна эта веревка. Значит, Вапыскат знал, о чем говорил? Может, и другие вести его вполне достоверны? Что, если и вправду именно у этого шеста в детей вселяют безумие? Но это надо проверить. Да, все, все надо увидеть собственными глазами.

Пойгин подошел к шесту и, размахнувшись, ударил в него топором. Мерзлое дерево было крепким, и легкий топор, зазвенев, отскочил, как от железа. Это лишь разозлило Пойгина. Он ударил топором еще и еще раз.

И вдруг позади себя он услышал чьи-то шаги. В мглистом свете луны разглядел огромного человека; одет он был в чукотскую кухлянку, однако на ногах было что-то странное, совсем не похожее на торбаза.

«Рыжебородый!» — пронеслось в уме Пойгина.

— Ты пришел, гость! — поздоровался по-чукотски человек, замедляя шаг.

— Да, — промолвил Пойгин, отвечая на приветствие.

— Почему же не вошел в мое жилище, как я вошел бы в твое?

— Я не знаю, как входить в твое жилище.

— Потому и решил разжечь костер?

— Да, я хотел срубить шест и разжечь костер.

Пока происходил этот разговор, Пойгин разглядел лицо пришельца: сомнений нет — это Рыжебородый.

— По твоему лику... и еще по тому, как ты обут, — ты пришелец, — сказал Пойгин, стараясь, чтобы голос его звучал если не с вызовом, то и не очень расположительно. — Почему разговариваешь так же, как разговариваю я?

— Я научился твоему разговору.

— Зачем?

— Чтобы ты меня понимал, а я понимал тебя.

Пойгин задумчиво помолчал, разглядывая ноги пришельца, наконец спросил:

— Во что ты обут?

— Это называется валенки. Они не так удобны, как торбаза, однако в них довольно тепло. Войдем в мое жилище, я напою тебя чаем.

— Нет. Я не могу войти в твое жилище, — несколько помедлив, ответил Пойгин.

— Почему?

— Недобрые вести о твоем деревянном стойбище смущают меня.

— Вот как! В таком случае ты должен на все посмотреть сам.

— Я потому и приехал.

— Начнем с моего очага. Там ты можешь согреться и утолить голод, — Рыжебородый широким жестом показал на жилище, над которым развевался красный кусок ткани.

— Я войду в твое жилище, когда исчезнет луна. Я белый шаман. Мне нужно солнце.

Рыжебородый какое-то время озадаченно разглядывал Пойгина, затем спокойно сказал:

— Солнце покажется над горами не скоро.

— Мне будет достаточно быстротечного

рассвета. Огненный свет по всему кругу неба у рубежа печальной страны вечера и есть солнце.

— Да, это его свет. Но ждать долго. — Рыжебородый посмотрел на небо. — Янотляут и Яатляут[1] еще не скоро обойдут Элькэп-енэр с левой на правую сторону.

— Да, ты прав. Как видишь, мне долго ждать твоего чая. Буду пить свой, для чего необходимо разжечь костер.

— Ты не должен рубить этот шест. Он имеет значение священного предмета.

Пойгин медленно повернул лицо к шесту, оглядел его сумрачным взглядом, в котором глубоко таилась тревога: да, возможно, здесь Рыжебородый насылает на детей безумие.

— Что ж, я усну в снегу вон там, у моей нарты, без чая, — отчужденно сказал он.

— За тем вон дальним домом, если еще немного пройти по берегу моря, стоит яранга.

— Чья?! — спросил Пойгин, выражая искреннюю радость. — Кто там живет?

— Ятчоль...

Брови Пойгина изумленно вскинулись вверх.

— Ятчоль? Тот самый Ятчоль, который жил в стойбище Лисий Хвост?

— Ты прав, он перекочевал оттуда.

— И ты его друг?

Рыжебородый долго не отвечал на вопрос, пытливо разглядывая лицо Пойгина. Наконец ответил уклончиво:

— Я не знаю, друг ли он тебе.

— Нет! Нет! Он не может быть моим другом! — запальчиво воскликнул Пойгин. — Это вы, пришельцы, почему-то сразу становитесь его друзьями.

— Я не буду тебя ни в чем разубеждать. Разбирайся сам, кто кому друг, — почему-то грустно ответил Рыжебородый. — Жаль, что придется тебе спать в снегу. Давай все-таки разожжем костер.

Открыв вход одного из небольших деревянных вместилищ, Рыжебородый вытащил обломки досок, топор, принялся колоть их. Потом выбрали место для костра. Рыжебородый вытащил из кармана спички. Пойгин раскурил трубку, жадно затянулся, протянул Рыжебородому.

— Не курю, — сказал тот, не приняв трубку.

И это неприятно изумило Пойгина. Как это человек может не курить? Это же все равно что не пить или не есть. И почему он не принял трубку? Разве трудно хотя бы один раз затянуться из нее дымом, тем самым показав свою предрасположенность к мирной беседе?

Горел костер. Пойгин и Рыжебородый пили чай в молчаливой задумчивости.

— Верно ли, что твоя борода может обжечь руку, если до нее дотронуться? — нарушил молчание Пойгин.

— Разве до тебя дошли такие вести?

— Да.

— В таком случае проверь сам. Или боишься обжечь руку?

— Не боюсь. Но я это сделаю потом, не при луне, — немного поразмыслив, ответил Пойгин.

Переночевал Пойгин в снегу у нарты. Вскоре после того, как Рыжебородый ушел в свое деревянное жилище, начал падать мягкий снег, мороз поубавился. Пойгин спал до рассвета, ни разу не поднявшись, чтобы потоптаться, согреть ноги. Когда проснулся, сразу вспомнил, что обещал Рыжебородому войти в его жилище, как только даст о себе знать солнце быстротечным рассветом. Надо было поторопиться принять решение, пока снова не началось время луны: входить или не входить в деревянное жилище? Не лучше ли дождаться еще одного рассвета, а сегодня приглядеться, что будет делать Рыжебородый у того шеста, который, как он сам сказал, имеет для него значение священного предмета. Да и готов ли Рыжебородый принимать гостя, не спит ли он?

Рыжебородого Пойгин увидел еще до того, как смог прийти к какому-либо решению. Это было странное зрелище. Рыжебородый вышел почти голый, всего лишь в коротеньких матерчатых штанишках; в обеих руках его было по два каких-то, судя по всему, очень тяжелых предмета — ведра не ведра и на чайники не похожи. Но больше всего поразило Пойгина то, что на груди, на спине и даже на ногах у Рыжебородого росла довольно густая шерсть. «Да человек ли он?» — не без страха спросил себя Пойгин.

Потоптавшись на одном месте, Рыжебородый схватил тяжелые предметы и начал по очереди то один, то другой поднимать выше головы и снова опускать. Мускулы его волосатого тела могуче напрягались, и казалось, что он сильнее всякого зверя. Когда Рыжебородому надоело поднимать тяжелые предметы, он принялся обтирать себя снегом. Делал он это, кажется, с огромным удовольствием, порой смеясь и покряхтывая. «Да он, видимо, сам безумный», — вдруг пришло Пойгину в голову.

Ему очень хотелось подойти к Рыжебородому поближе, но что-то его останавливало. Когда Рыжебородый вдруг встал на руки и пошел по снегу, Пойгин окончательно пришел

[1] Янотляут — Арктур; Яатляут — Вега.

к выводу, что видит проявление человеческого безумия. «Может, он и детей будет переучивать ходить на ногах и поставит их головой вниз?» — размышлял он, изумляясь увиденному.

Рыжебородый наконец встал на ноги, поманил к себе Пойгина рукой.

— Проснулся? — спросил он, снова принимаясь обтирать себя снегом.

Остановившись на почтительном расстоянии, Пойгин смущенно спросил:

— Что с тобой происходит?

— Это по-русски называется зарядка,— улыбаясь, ответил Рыжебородый. — Хочу быть сильным. К тому же это лучший способ прогонять простудные болезни. Так и рассказывай всем, что я очень сильный. А вот добрый или злой — сам постигай.

— Ты не безумный? — осторожно спросил Пойгин.

— Я так и подумал, что тебе в голову может прийти подобная мысль. Разубеждать не стану. Присматривайся, соображай. Сегодня мягкий, приятный снежок, не каждый раз вот так выскочишь на мороз. Не утерпел, выскочил.

— Да, сегодня стало теплее,— согласился Пойгин.

Когда Рыжебородый скрылся в своем жилище, Пойгин подошел к железным предметам, попытался поднять сначала один, потом второй. Поднять-то поднял, но удивился, насколько они тяжелы. «Как же Рыжебородый их вскидывает выше головы? Мне этого не сделать, хотя я, кажется, не такой уж и слабый».

Пока Пойгин возился с железными предметами, Рыжебородый вышел опять, уже в одежде.

— Это называется — гири,— пояснил он.

— Неужели я слабее тебя? — не без досады спросил Пойгин. — Не могу поднять их выше головы.

— Стоит ли об этом думать. В чем-нибудь другом ты сильнее меня. В беге, в ходьбе, к примеру, в стрельбе.

— Да, быстрее меня мало кто бегает.

— Это можно проверить. Скоро будет здесь праздник. Оленьи гонки будут, мужчины покажут свою ловкость в беге, в прыжках. Аркаиы метать будем, стрелять из луков, карабинов, винчестеров.

— Разве пришельцы умеют ездить на оленях, метать аркан?

— Зачем пришельцы? Вы будете главными гостями на празднике. Охотники, оленные люди. Призы хорошие выставим. Большие медные чайники, карабины, подполозки для нарт, котлы. Буду рад, если ты станешь достойным хоть одного из этих призов.

Кажется, этот странный человек намерен был удивлять Пойгина бесконечно.

— Праздник Моржа еще далеко. Праздник рождения оленя тоже не близко. О каком из них ты говоришь?

— Праздник честно живущего человека,— ответил Рыжебородый.

— Разве есть такой праздник?

— Есть. — Рыжебородый улыбался мягко и задумчиво. — Как видишь, быстротечный рассвет в разгаре, солнце дало знать о себе. Ты можешь войти в мое жилище.

— Да, я, пожалуй, войду,— согласился Пойгин, оглядев едва приметный в падающем снеге посветлевший горизонт.

Вошел Пойгин в деревянное жилище с чувством преодоления какой-то сверхъестественной черты, словно бы входил в совершенно иной мир, мало имеющий отношения к миру земному. Прежде всего поразили незнакомые запахи. И наоборот, он совершенно не почувствовал духа человеческого жилья: здесь не было запаха дыма, шкур, запаха светильника и многого другого, чем отличался любой чукотский очаг.

Рыжебородый открыл еще один вход, и перед Пойгином оказалось огромное вместилище, заставленное какими-то деревянными подставками разной формы и величины.

— Это называется стол, а это стул,— пояснил Рыжебородый, дотрагиваясь до деревянных предметов рукой,— мы с тобой находимся в клубе, куда собираются люди, чтобы послушать новые вести, вместе подумать о жизни.

Пойгин со скованным видом человека, рискующего встретить какой-нибудь опасный подвох, медленно оглядывал стены, потолок, пол, окна.

— Почему здесь так тепло? — хрипловато спросил он, не сумев справиться от волнения с собственным голосом. Осторожно потрогал рукой стену. — Это же дерево. Неужели оно может быть теплее оленьей шкуры?

— В этом жилище есть вместилище огня — печка называется, — Рыжебородый поманил Пойгина, открыл маленькую железную дверку в выступе, который, кажется, был сделан из камня.

На одной из стен Пойгин увидел солнечного цвета трубу с прикрепленным к ней куском красной ткани. Вспомнился рассказ Вапыската о том, что Рыжебородый с помощью трубы ревет громче келючи. Пойгин медленно подошел

к трубе, боязливо дотронулся пальцем до ее блестящей поверхности.

— Вести говорят, что ты с помощью этой трубы ревешь, как морж келючи. От этого должно быть, всем очень страшно. Зачем?

— Вести преувеличивают, — Рыжебородый снял со стены трубу, покрутил ее в руках. — Это называется горн. Звуками его мы здесь зовем детей выполнять различные действия, полезность которых тебе еще предстоит постичь.

Рыжебородый приложил узкий конец трубы ко рту, издал несколько различных, не столь уж и громких звуков. В них не было ничего устрашающего, однако Пойгин все еще напряженно мигал; наконец спросил:

— Громче можешь?

— Могу Но не хочу тебя пугать. Это может каждый, надо лишь немного поучиться. Попробуй сам. Дуй вот сюда.

Невольное любопытство одолело осторожность Пойгина. Он приложил конец трубы ко рту, принялся дуть. Но, кроме шипения, ничего из трубы не шло. Пойгин набрал полные легкие воздуха, принялся дуть до натуги в лице; щеки его раздувались, а труба если не шипела, то в лучшем случае хрипела.

— Не слушается, — огорченно сказал Пойгин, постучав согнутым пальцем по трубе. — А голос этой трубы не похож ни на какой другой из тех, которые мне приходилось слышать.

Каждый следующий шаг Пойгина в этом странном жилище, где люди создали в зимнюю пору лето, приносил новые и новые невероятные открытия. Рыжебородый ввел его в свое, как он сам сказал, спальное вместилище.

— По-русски это называется квартира, — терпеливо объяснял он, — здесь мы едим, а вот здесь спим. Подставка эта называется кровать.

— Как же ты не боишься спать на ней? Ночью можно упасть, зашибиться о дерево, — Пойгин топнул несколько раз ногой, потом нагнулся, потрогал пол рукой. — Может, ты себя на ночь ремнями привязываешь?

— Нет, сплю точно так же, как ты в пологе. Привычка. Никогда не падал. А вот моя жена, — сказал Рыжебородый, когда из входа еще в одно вместилище вышла женщина с солнечными волосами и с глазами, как малые частички неба или голубой морской воды в пору тишины, когда море как будто спит, не шелохнувшись даже самой слабой волною. Что-то неземное почудилось Пойгину в этой тоненькой женщине с волнистыми распущенными волосами, словно явилась она из каких-то голубых далей, из тех далей, откуда порой наплывают, как безмятежный сон, вереницы лебединых стай. Казалось, что эта женщина сама способна летать, и цвет глаз ее потому и похож на малые частицы синего неба.

И вдруг Пойгина неприятно поразило, что ноги ее оголены почти до колен. Да, это было, по представлениям Пойгина, как и любого из его соплеменников, более чем непристойно. Как может она показываться мужчине на глаза в таком виде?

— Почему твоя жена бесстыдная? — вдруг спросил Пойгин со всей прямотой.

— Бесстыдная?! — изумился Рыжебородый.

— Нельзя женщине показывать ноги мужчине до самых колен.

Рыжебородый посмотрел на ноги жены, и по всему было видно, что он готов рассмеяться. Но он сдержал себя, заговорил с женой на своем языке.

— Понимаешь, Надя, наш гость шокирован тем, что ноги твои оголены до колен. Хорошо, мы это с тобой усвоим. Я думал, что знаю о чукчах все, но, как видишь, заблуждался.

Женщина смущенно улыбнулась, глянула на свои ноги и скрылась в соседнем вместилище. Вскоре она явилась в том же наряде, однако под синей одеждой ее оказались матерчатые штаны.

Через некоторое время Пойгин ел мясо, пил чай, сидя за столом на страшно неудобной деревянной подставке. Ему очень хотелось опуститься на пол, удобно сесть на корточки, но внизу не было мягких шкур. Когда стало жарко, он снял кухлянку, обнажаясь до пояса. Не знал он, что говорит Рыжебородый о нем жене.

— Посмотри, Надя, как великолепно вылеплен этот чукча, — рассуждал заведующий культбазой Артем Петрович Медведев. — Будто вдруг ожившая бронзовая скульптура. А какая осанка! Право же, осанка истинного аристократа.

— Миклухо-Маклай, кажется, делал такие же открытия, — отвечала шутливо Надежда Сергеевна, заведующая школой в культбазе. — И нос у нашего гостя с горбинкой... Какой четкий профиль, хоть чекань на медали.

Утолив голод и напившись чаю, Пойгин с удовольствием раскурил трубку.

— А вот это вроде бы здесь ни к чему, — сказала Надежда Сергеевна.

— Ничего, придется потерпеть.

— Я бы предложил тебе и твоей жене трубку, — сказал Пойгин, глубоко затягиваясь. — Но ты вчера удивил меня, не приняв трубку.

— Однако беседа наша все равно была очень мирной и дружелюбной, — возразил Рыжебородый, — считай, что я принял у тебя трубку. Просто по моим обычаям каждый, кто курит, должен курить только свою трубку.

— Почему? От жадности?

— Нет, по другой причине. Когда-нибудь поймешь. Приглядывайся. Я пытаюсь постигнуть ваши обычаи, а ты, быть может, найдешь нужным постигнуть наши.

Пойгин промолчал, обдумывая, что кроется за словами Рыжебородого. Вдруг он чуть откинулся назад и сказал:

— Теперь позволь мне дотронуться до твоей бороды.

— Не боишься обжечься?

Пойгин посмотрел на руку, помахал ею в воздухе, словно уже чувствуя ожог.

— Решайся, — шутливо промолвил Рыжебородый, как-то странно подмигнув ему. — Решайся. Судя по всему, ты храбрый мужчина.

Пойгин помедлил, затем осторожно протянул руку и вдруг крепко ухватился за бороду Артема Петровича.

— Это еще что за выходка? — спросила Надежда Сергеевна, не все поняв в речи Пойгина.

— Надо тебе поскорее овладевать чукотским языком, — спокойно ответил Артем Петрович, когда гость наконец отпустил его бороду.

Какое-то время Пойгин внимательно оглядывал собственную руку.

— Никакого ожога не чувствую, — сказал он, кажется, несколько разочарованно. — Даже тепла не почувствовал. Обыкновенная шерсть, как если бы я притронулся к гриве чимнэ [1].

— Вот видишь, я обыкновенный человек, — сказал Рыжебородый, дотрагиваясь до бороды, — ничего сверхъестественного во мне нет. Надеюсь, что именно эту весть ты и увезешь в тундру.

— Не лучше было бы для тебя, если бы по тундре шла весть, что твоя борода как огонь?

— Зачем обман?

— Да, обман не нужен.

— Ну вот, кое в чем, кажется, мы уже сошлись. Не выпьешь ли еще чаю?

— Пожалуй, попью. Потом пойду смотреть, что вы тут делаете с нашими детьми. Вести дошли, что вы делаете их безумными там, у того шеста, который я вчера хотел срубить.

Рыжебородый изумленно переглянулся с женой.

— О, это лживая весть, — сказал он, помрачнев. — Очень лживая. Нас кто-то хочет оклеветать. Тебе тут особенно надо во всем разобраться. У нас не было сегодня намерения совершать действие у высокого шеста. Но мы, пожалуй, его все-таки совершим в твою честь.

— Как это в мою честь?

— Потом поймешь. Смотри и разбирайся.

Заревела труба Рыжебородого у высокого шеста, заревела призывно. У Пойгина пробежал мороз по спине. Нет, это не было похоже на рев моржа, это не было похоже и на грохот бубна. Однако что-то шевельнулось в душе Пойгина такое, будто он колотил в бубен или слушал, как колотят другие.

Из другого деревянного жилища, которое стояло рядом с тем, в котором только что побывал Пойгин, вышли один за другим дети. Шли, глядя друг другу в затылок, а рядом с ними шагал молодой парень из пришельцев и что-то весело выкрикивал, широко улыбаясь. Все дети были одеты в кухлянки, обуты в торбаза, кроме одного, который явно был русским; этот был обут точно так же, как Рыжебородый.

Мог ли знать в ту пору Пойгин, что в этом мальчике он видит своего будущего зятя? Пройдут годы, вырастет мальчик, станет похожим на своего отца Рыжебородого. О, сколько еще впереди событий, о которых Пойгин не мог догадываться даже в самой малой степени!

А сейчас он наблюдал за странным ритуалом и мучительно пытался понять: прав или не прав черный шаман Вапыскат, говоря о безумии, вселяемом в головы детей страшным пришельцем с рыжей бородой.

Молодой парень теперь шагал впереди ровной цепочки детей и продолжал весело выкрикивать какие-то слова. Самое странное было в том, что поверх глаз парня были еще и вторые глаза, по виду стеклянные, с темными держалками, которые цеплялись за уши. Пойгин сразу же для себя назвал парня Тэн-лилет — Стеклянные глаза.

Дети были веселы, что-то шаловливо выкрикивали, чувствуя себя вполне привычно и свободно. Вот они выстроились в длинный ряд перед высоким шестом, и лица их стали торжественными. Тэн-лилет прошелся вдоль ряда, кое-кого из детей поправляя руками, чтобы стояли ровнее. Тэн-лилет снова что-то выкрикнул, и все дети как один повернулись в левую сторону. Снова раздался возглас Тэн-лилета, и дети как один повернулись на этот раз в правую сторону. Рыжебородый спокойно улыбался, только изредка бросая пытливые взгляды в сторону Пойгина.

Тэн-лилет встал впереди ряда и пошел, высоко поднимая ноги, совсем не так, как надо бы ходить человеку, если он в своем уме. И что больше всего удивило Пойгина: все дети, как птенцы за журавлем, пошли шаг в шаг, точно так же смешно поднимая ноги. Да, если со стороны посмотреть — это мало похоже на проявление здравого рассудка. Тэн-лилет, как помешанный, машет руками, и все дети точно

[1] Чимнэ — олень-бык.

так же машут руками под его громкие выкрики.

Рыжебородый, будто завороженный, молча наблюдал за этой странной ходьбой и чему-то улыбался. Дети между тем снова остановились, по-прежнему соблюдая ровный ряд, и по резкому требовательному выкрику Тэн-лилета точно в одно и то же время повернулись лицом к Рыжебородому. На этот раз уже Рыжебородый выкрикнул что-то протяжное, вскинул трубу и заревел. Из ряда вышел один из мальчиков, ловко прикрепил кусок красной ткани к веревке. Мальчик тянул веревку вниз, а красный кусок материи, как ни странно, поднимался вверх и вскоре достиг самой вершины шеста.

Дети радостно зашумели, ударяя в ладоши. Некоторые из них кричали в таком восторге, будто увидели восход солнца после долгой ночи. Но снова раздался окрик Тэн-лилета, и дети замерли, выравнивая ряд, боясь ступить в сторону даже самую малость. И это всеобщее послушание показалось Пойгину каким-то странным, вызванным сверхъестественной силой, и ему подумалось, что Вапыскат, возможно, говорил истинную правду.

Рыжебородый поглядывал в сторону Пойгина, и на лице его по-прежнему блуждала загадочная усмешка.

Из деревянного жилища, из которого недавно выбежали дети, точно так же, шагая затылок в затылок, вышла вторая группа детей. Только на этот раз у первого мальчика был какой-то странный двойной бубен, в который он отчаянно колотил двумя палочками. Чуткое ухо Пойгина уловило, что мальчик колотил палочками далеко не беспорядочно, он выбивал определенный ритм, под который шагали все остальные дети, так же смешно поднимая ноги. В руках у другого мальчика был новенький карабин, а у остальных, судя по всему, по пачке патронов.

Под выкрики Тэн-лилета эта группа детей остановилась прямо перед Пойгином и замерла, словно им приказали не дышать. Однако у каждого из них в глазах было столько радости и благожелательства, словно они присутствовали на самом веселом празднике отела оленей.

Красный кусок ткани трепетал на верхушке шеста, порой хлопая от ветра так, будто раздавались выстрелы. Пойгин кидал вверх тревожный взгляд и снова во все глаза смотрел на детей, переполненный величайшим недоумением, тревогой, подозрением.

Наконец заговорил Рыжебородый:

— Дети! К нам пришел очень хороший человек, дорогой для нас гость, зовут его Пойгин!

Дети опять радостно закричали, захлопали в ладоши, разглядывая Пойгина так, словно был он каждому из них родным отцом.

— Пойгин впервые пришел на культбазу, и ему здесь многое непонятно. Я вижу, что ему показалось очень странным, что мы поднимаем вверх вот эту ткань, которая называется красным флагом. Объясните ему, когда он будет разговаривать с вами, что красный флаг, который мы часто поднимаем, как бы обозначает солнечное восхождение. Да, да, этот человек, насколько я понял, очень любит солнце, и пусть он красный флаг понимает именно так.

Пойгин слушал Рыжебородого и не мог понять: как все-таки относиться к его словам? С одной стороны, они ему были приятными, да, это были хорошие слова, с другой стороны, его не покидало чувство подозрительности, мучило ожидание подвоха.

— Совершив подъем красного флага в твою честь, Пойгин, мы теперь торжественно вручим тебе наши подарки — карабин и патроны к нему. Пусть тебе всегда сопутствует удача в охоте!

Дети положили карабин и патроны у ног Пойгина, а Рыжебородый опять заревел в трубу. Потом дети вдруг все вместе запели громкую песню. Пойгин еще ни разу не слышал, чтобы много людей пели одну и ту же песню вместе. Ведь у каждого человека своя песня, и никто другой не должен ее петь, если он не хочет навлечь на себя злых духов. Однако дети пели общую песню. Как понять, хорошо это или плохо? Дети пели громко и дружно, и было видно, что им это очень нравится.

Когда дети наконец закончили петь, Пойгин поднял карабин, внимательно оглядел его и сказал в наступившей тишине:

— Я не могу принять подарок.

— Почему? — удивленно спросил Рыжебородый.

— Я пока еще не понял, что тут происходит, и не сделаю ли я дурного дела, приняв подарок. Я благодарю, но карабин не возьму...

— Тогда поступим так,— Рыжебородый задумался, соображая, как найти выход из затруднительного положения.— Поступим так,— повторил он. — Я карабин спрячу. Но он твой. Ты заберешь его, когда поверишь нам, когда поймешь, что, кроме добра, мы ничего не желаем.

— Дело твое,— не сразу ответил Пойгин. — Я хотел бы поговорить с детьми, но без пришельцев.

— Хорошо, разговаривай с любым из них и со всеми сразу, как тебе захочется,— с готовностью согласился Рыжебородый.

Пойгин провел с детьми целый день. Начал он с ними разговор еще там, у высоко-

го шеста, едва ушли Рыжебородый и Тэнлилет.

— Тебя как зовут? — спросил он у мальчика, который обладал странным двойным бубном.

— Омрыкай — Маленький силач.

— Не потерял ли ты тут свою силу?

Розовощекий крепыш шмыгнул носом, улыбнулся, так что почти исчезли его узенькие веселые глазенки.

— Мы здесь прыгаем, бегаем, чтобы стать ловкими, — ответил он и добавил не без важности: — Физкультура называется.

Повернувшись к девочке, одетой по-мальчишечьи в кухлянку, Пойгин спросил:

— Верно ли, что тебя заставляют говорить по-мужски?

— Только когда читаю букварь, говорю по-мужски. Букварь по-женски разговаривать не умеет, — ответила девочка.

— Что такое букварь? Можешь ли ты мне его показать?

— Пойдем, покажу.

Рассматривал Пойгин букварь в жилище для детей перед тем, как их должны были позвать на завтрак. В деревянном жилище оказалось несколько вместилищ, в которых стояло по четыре подставки для сна. Здесь было тепло и очень чисто. Пойгина, превыше всего ценившего опрятность, поразила именно эта чистота, которая вроде бы излучалась, как нечто такое, что имеет отношение к солнечному началу. Белые стены, голубые окна, желтого цвета пол, белая ткань на спальных подставках, наконец, спинки спальных подставок, сделанные из какого-то сверкающего металла, — все это лучилось чистотой, мягким светом.

Однако Пойгин не дал себе волю оказаться во власти первого благоприятного впечатления; он придирчиво выискивал что-нибудь такое, что могло ему не понравиться, даже заглянул под одну из спальных подставок.

— Падаете ночью?

— Сначала падали, — призналась девочка. — Теперь привыкли. У нас Рагтына до сих пор падает. Она знает тебя, ты ее лечил...

— Рагтына? Дочь Выльпы?

— Да, дочь Выльпы.

— Где она?

— Вот она, смотрит на тебя.

Из толпы девочек к Пойгину приблизилась Рагтына, дочь безоленного чавчыв Выльпы. Позапрошлым летом Выльпа просил Пойгина изгнать злую немочь из сердца дочери, которая была больной еще со дня рождения. Пойгин уходил с Рагтыной в тундру в летнюю пору, выбирая солнечные дни. Он произносил мысленно одно заклинание за другим, умолял солнечный луч проникнуть в самое сердце девочки, чтобы изгнать из него злую немочь, однако лучше больной не становилось.

Теперь вот Рагтына стояла перед ним, оказавшись обитательницей деревянного стойбища Рыжебородого.

— О, как ты выросла, я тебя и не узнал, — с грустной улыбкой сказал Пойгин, присаживаясь на одну из подставок. Почувствовав, что подставка колышется, быстро встал. Девочки засмеялись, улыбнулась и Рагтына.

— Не бойся, — тоненьким голоском успокоила она Пойгина, — кровать колышется, но никогда не проваливается. На ней засыпаешь так, будто уплываешь на байдарочке в море. Только мне часто снится, что байдарочка тонет, и тогда я падаю на пол. Потому мне на полу стелют шкуру оленя.

— Как тебе дышится здесь? — осторожно спросил Пойгин, прикладывая руку к собственному сердцу.

— Меня лечит доктор. Он, как ты... белый шаман. У него и одежды все белые-белые. И мне кажется, что злая немочь уходит из сердца.

Пойгин весь подался вперед, внимательно разглядывая лицо Рагтыны: ах, если бы он мог поверить ее словам — он немедленно побежал бы разыскивать русского белого шамана, чтобы сказать ему самые высокие слова уважения и благодарности. Но по лицу Рагтыны он видел, что злая немочь все еще находится в ее сердце.

Пойгин долго молчал. Наконец вскинул голову, выходя из глубокой задумчивости, и попросил:

— Ну, показывайте этот самый ваш, как он называется...

— Букварь, — подсказала Рагтына.

С шумом и гамом совали девочки в руки Пойгина свои буквари. Явились и мальчики. Омрыкай пытался вручить гостю еще и учебник арифметики. Пойгин раскрыл один из букварей с такой осторожностью, будто боялся, что из него выскочит злой дух. Шелест тонкой бумаги, испещренной черными знаками, рисунками, он воспринимал как шепот сверхъестественной силы, которая, вполне возможно, таит в себе зло.

— Как же он с вами разговаривает, этот букварь? Вы слышите его шепот или голос? На что это похоже — на человеческую речь или на птичий крик? Или пищит, как мышь?

Дети молча переглядывались, не зная, как объяснить совершенно необъяснимое.

— У него нет голоса, — с важным видом ответил Омрыкай, — он немоговорящий. Эти знаки... буквы называются... рассказывают не

для ушей, а для глаз, мы как бы глазами слышим то, что они нам рассказывают.

И, выхватив букварь из рук Пойгина, Омрыкай с усердием прочел несколько слов, обозначающих предметы, названия животных, в числе которых оказался и рэв — кит.

— Ну, рэв, и что? — прервал мальчика Пойгин.

— Ничего. Просто здесь букварь говорит знаками: «рэв», — ответил Омрыкай, явно обидевшись, что его умение понимать букварь нисколько не оценено. — Я вот подальше с букварем поговорю, в самой его середине. Послушай...

Мальчик лихорадочно перелистал букварь, набрал полную грудь воздуха и прочел по складам внятно и четко, и еще с упрямством человека, который умеет постоять за себя:

— О-тец пой-мал ли-су. У ли-сы пу-шистый хвост.

— Постой, ты нагнал мне полную голову тумана, — несколько раздраженно воспротивился напору упрямого мальчугана Пойгин. — Чей отец поймал лису? Где он ее поймал? Когда?

Мальчик развел руками.

— Я не знаю, чей отец поймал лису, — досадливо сказал он. — Этого никто не знает.

— Зачем же, в таком случае, ваш букварь рассказывает глупости? Надо же знать, о чем говорить, если ты намерен сообщить какую-то серьезную весть. И потом, кто же не знает, что у лисы пушистый хвост? Разве ты не знаешь?

— Знаю, — угрюмо ответил Омрыкай.

— И еще я не могу понять: как это возможно слышать глазами? А ушами видеть тут вас не учат? Может, это верно, что вы все посходили с ума?

— Нет, ушами видеть нас еще не учили, — раскрасневшись от явной досады, ответил Омрыкай. — Разве ушами видят?

— Ну, если вы слышите глазами, то почему бы не видеть ушами?

— Не знаю, нам об этом тут еще ничего не говорили, — озадаченно ответил мальчик, подержав себя за уши, словно хотел удостовериться в их способности видеть.

Отворилась дверь, и кто-то крикнул, что пора на завтрак. Детей как ветром сдуло, осталась одна Рагтына.

— Куда они побежали? — спросил Пойгин, опять ласково дотрагиваясь до головы девочки.

— В камэтваран — в дом, где едят.

— Здесь есть и такой дом?

— Есть.

— А ты почему не побежала?

— Я соскучилась по тебе. Пойдем, будем вместе есть.

— Чем вас кормят? Оленя едите?

— Едим оленя, нерпу, рыбу. Много другой не известной тебе еды. Пойдем. Только не ешь соль.

— Разве бывает такая еда?

— Немножко ее сыплют в другую еду.

— Соль в еду? Они что, посходили с ума? Ох, и не нравится мне все это, — скорее для самого себя, чем для девочки, сказал Пойгин. — Букварь рассказывает глупости, дети едят соль... У меня голова распухла от непонимания. Приеду в тундру... не знаю, что и рассказывать...

— Здесь хорошо! — тоном, не допускающим никакого сомнения, вдруг заявила Рагтына. — Здесь весело.

— Ну, если тебе хорошо, то я рад. Да, да, я очень рад, — снова погружаясь в мучительную задумчивость, сказал Пойгин. — Пойдем есть, посмотрю, чем вас кормят.

В доме для еды дети вовсю работали ложками и еще какими-то маленькими четырехзубыми копьями. Пойгин присел рядом с Рагтыной, заглянул в ее миску.

— Это называется рисовая каша, — смущенно, словно извиняясь за то, что вынуждена просвещать взрослого человека, объяснила Рагтына. — Попробуй. Вот котлеты.

Незнакомый вкус рисовой каши не произвел на Пойгина особого впечатления. Но котлета, приготовленная из оленьего мяса, ему понравилась.

— Это, кажется, вкусно.

— Все говорят, что вкусно, — согласилась Рагтына, — только вот охоты к еде у меня меньше, чем у других. — И, горестно вздохнув, девочка добавила: — Что поделаешь, больная...

У Пойгина заныло сердце от жалости. Ничего не ответив девочке, он принялся наблюдать за русской женщиной, разносившей еду. Полное лицо ее было приветливым, а белая одежда и такой же белый, смешной формы малахай на голове излучали ту же чистоту, которая запала в память Пойгина, когда он оказался в жилище девочек. «Что ж, это хорошо, — отмечал он для себя. — Кайти тоже любит, чтобы чисто было. Уж ее полог всегда самый опрятный».

Заметив, как Рагтына, принявшись за котлету, ловко управляется с четырехзубым маленьким копьем, Пойгин спросил:

— Не боишься уколоться?

— Мы все уже привыкли, — ответила девочка. — Это вилка называется.

Желая удостовериться, всем ли нравится пища, Пойгин пошел между рядами деревянных

подставок, застланных чем-то похожим на гладкую кожу.

— Ты здесь всегда наедаешься? — спросил он у Омрыкая.

Мальчик похлопал себя по животу и важно ответил:

— Я ем больше всех, потому что силач.

— Ну, ну, ешь, лишь бы не был голодным.

В дом для еды вошел Тэн-лилет, строго всех оглядел, остановил взгляд на Пойгине, что-то сказал русской женщине. Та смутилась, развела руками. Не знал Пойгин, что речь шла о нем.

— Почему здесь посторонний человек? — спросил у поварихи дежурный по столовой, учитель Александр Васильевич Журавлев.

— Что я поделаю, если он пришел,— ответила повариха,— не могу же я его выгнать. Артем Петрович сердится, если мы неприветливы к чукчам.

Журавлев широко улыбнулся, и стало понятно, что строгость его напускная:

— Милая Анастасия Ивановна. Я сам могу страшно рассердиться по той же самой причине.

Журавлев говорил правду. На Север он поехал с жаждой согреть всем жаром своего сердца маленький народ, о котором прочел все, что было возможно. Он мечтал о романтике, о подвижничестве, в котором надеялся раскрыть, как ему думалось, недюжинные свои силы. В горячем воображении он сражался со злыми и коварными шаманами, шел сквозь пургу, чтобы спасти старика, который, не желая быть лишним ртом, согласился на добровольную смерть (об этом читал он в книгах), вступал в поединок с вооруженными до зубов американскими контрабандистами, которые все еще пытались подойти на шхунах к чукотским берегам. К великому его сожалению, на культбазе пока ничего подобного не происходило, и он не знал, куда девать свою энергию.

«Тебе, Саша, надо почувствовать истинный героизм в обыкновенных буднях», — внушал ему начальник культбазы Медведев. «Я пытаюсь, Артем Петрович, но мне этого мало»,— искренне признавался Журавлев.

Медведева Александр Васильевич любил беззаветно, однако не пропускал ни одной возможности поспорить с ним и один на один, и на людях, стараясь показать свою независимость и принципиальность. Журавлеву казалось, что начальник культбазы излишне осторожен, слишком педантичен; ему уже давно пора совершать рейды в самую глубокую тундру, куда попряталось кулачье да шаманы, а он непростительно медлит. А между тем он, Журавлев, готов хоть сейчас возглавить любой из самых дальних рейдов. В чукотских детишках Александр Васильевич не чаял души, искренне восхищался каждым из них, и они платили ему тем же.

Вот и сейчас Пойгин заметил, как доверчиво и влюбленно смотрели детишки на русского парня, которого он прозвал Тэн-лилетом, с одобрением отмечая для себя, что у него веселое лицо, и совершенно непонятно — зачем он закрывает стекляшками глаза, если в них светится такая приветливость.

Улыбнувшись Пойгину, Александр Васильевич подошел к нему, сказал по-чукотски, правда, не столь чисто, как умел говорить Рыжебородый:

— Я рад видеть тебя гостем. Присядем и за едой поговорим. Мне совсем непонятно, почему ты отказался от нашего подарка, когда мы поднимали красный флаг в твою честь.

Пойгин сел за стол против учителя, внимательно посмотрел ему в глаза, откровенно сказал:

— Я еще не знаю, не заставит ли меня ветер ярости стрелять в вашу сторону.

Журавлев откинулся на спинку стула, изумленно воскликнул:

— Ого! Да ты, кажется, умеешь странно шутить.

— Что ж, будем считать, что я пошутил

— Хотя ты и гость, но я должен сказать, что шутка твоя не понравилась мне. Ты бы лучше принял наш подарок и направил карабин против шаманов, если на то они тебя вынудят.

— Я сам шаман. — Помолчав, Пойгин уточнил со значением: — Белый шаман.

Окончательно сбитый с толку, Журавлев медленно потер носовым платком очки, стараясь, чтобы лицо его выглядело сурово и мужественно. Вытащил трубку, которую пока еще никогда не курил, замедленным жестом сунул в рот и, снова вынув, сказал:

— Шаман есть шаман. Думается мне, что ты на себя наговариваешь.

Журавлев не вошел, а ворвался в кабинет начальника культбазы с видом воинственным и развеселым.

— Что, Саша, не удалось ли тебе задушить в схватке белого медведя? — пошутил Артем Петрович, отрываясь от бумаг.

— У меня состоялся странный разговор с нашим гостем. Он так откровенно объяснил, почему не принял карабин в подарок, что я опешил...

— Ну, уж так и опешил. На тебя совсем не похоже.

— А что, если он и вправду шаман?

— Вполне возможно.

— И мы закатили в его честь подъем флага?

— Закатывают банкеты, Саша.

— Согласен, выразился неудачно...

— Уверяю тебя, что это тот шаман, с которым надо сражаться не оружием, а добротой...

— Боюсь, что это похоже на баптистскую проповедь.

— Что, что?!

— Извините, Артем Петрович, вы знаете, как я вас уважаю, даже люблю. Но я все чаще и чаще перестаю вас понимать.

— Поймешь, поймешь, Саша. Не зря же я взял тебя в свой культотряд. Обаяние твое, беззаветность твоя комсомольская при тебе останутся, а от чрезмерного максимализма постепенно освободишься. Переболеешь...

— Понимаю, вы хотите сказать, что у меня корь или скарлатина.

— Может быть, может быть, Саша. — Медведев вышел из-за стола, по-отечески положил руки на плечи Журавлева. — Но излишний твой максимализм может наделать немало беды. Пойми, мы находимся в такой обстановке, когда малейший наш неверный шаг, неловкий поворот наносит раны. Вот так, дорогой Саша. Не торопись объявлять войну нашему шаману. В жизни все гораздо сложнее. Кстати, займись чукотским языком посерьезнее. У тебя неправильно звучат «к» и «л». Чукчи «л» произносят мягко и чуть с пришипом.

— Хорошо, буду произносить «л» с пришипом, — напряженно думая о чем-то своем, сказал Александр Васильевич. Вскинул голову, бесстрашно глядя в глаза начальника культбазы: — А почему вы так быстро объявили войну Ятчолю? Вы прогнали с работы истопника Ятчоля, человека, который действительно тянется к нам, а в честь неведомого человека, возможно, враждебного нам, подняли флаг...

— Ведом, очень даже ведом для меня этот человек, — Артем Петрович поманил Журавлева к себе пальцем с лукавым видом. — Скажу тебе по секрету. Вчера чуть ли не всю ночь я провел с ним у костра.

— У какого костра? Вы же никуда не уезжали.

— Верно, не уезжал. Гость не решился заночевать в незнакомом для него русском жилище, заявил, что будет спать у порога. Вот я и предложил разжечь костер. И мы его разожгли почти у самого порога.

Александр Васильевич вдруг расхохотался:

— Оригинально! О-очень оригинально. За это я, наверное, и люблю вас, за все новые и новые неожиданности в вашем характере. Впрочем, не только за это...

В кабинет вошел с крайне взволнованным видом Ятчоль. Прижав малахай к груди, он выпалил:

— Я видел шаман Пойгин! Плёка Пойгин. Очень сильно шаман Пойгин!

Медведев улыбнулся Журавлеву:

— Вот и еще один борец с шаманами.

— А если он прав?

— Прав я, Саша. Прав не только потому, что прогнал Ятчоля за пьянство...

— Вообще-то, конечно, он мог нам и пожар устроить.

— Вот, вот, пожар, — подтвердил Медведев в какой-то глубокой сосредоточенности. — Но дело не только в этом. Я его уволил за двоедушие, за холуйство. Нам, дорогой Саша, не нужны угодливые людишки, не нужны марионетки, нам нужны равные среди равных. И это не просто громкая фраза, в этом наша суть. Ради этого я лично подался на край света, полагаю, что и ты тоже...

— Да, в этом вы можете быть уверены.

— Уверен, вполне уверен, Саша.

А Пойгин продолжал постигать порядки в стойбище Рыжебородого. После завтрака он пошел вслед за детьми и оказался в другом деревянном вместилище, где учили их разгадывать тайну немоговорящих вестей. Дети разместились за деревянными подставками, которые они называли партами, разложили перед собой буквари. Едва протиснувшись, сел за одну из парт и Пойгин.

Когда вошла учительница — жена Рыжебородого, то все дети встали и на ее слова ответили каким-то единым дружным возгласом. Пойгину еще не приходилось слышать, чтобы сразу много людей произносили одно и то же слово. Потом учительница еще что-то сказала, и дети, видимо, ей повинуясь, сели, раскрыли буквари. Учительница подошла к черной доске и принялась вычерчивать куском белой глины какие-то знаки; оставляла следы на доске, будто куропатка на снегу, и усердно что-то объясняла. Голос ее был приветливым, а глаза, похожие на частички синего неба или синей воды спокойного моря, лучились добротой и каким-то особенным желанием раскрыть тайну белых знаков; она так старалась, что, казалось, готова была вынуть собственное сердце, только бы поскорее догадались дети, что она хочет им объяснить. Разговор ее на чукотском языке звучал порой очень смешно, однако все слова можно было понять, беда была лишь в том, что Пойгин не мог уразуметь их смысла. Его изумляло, что дети все-таки учительницу понимали, отвечали на ее вопросы, зачем-то высоко под-

нимая перед этим руку. Особенно старался Омрыкай. Он чаще всех поднимал руку, порой привставал, на лице его отражались мольба и упрямство. И учительница, видимо, поняла, что происходит с мальчиком, пригласила его встать рядом с собой, передала ему кусочек белой глины, сказав при этом:

— Напиши: мама шила рукавицы.

Омрыкай, высунув язык, принялся вычерчивать на черной доске знаки с таким усердием, что белая глина крошилась в его пальцах. Дети смеялись, улыбалась и учительница, советовала не слишком надавливать белой глиной на доску. Наконец Омрыкай оставил следы на доске намного крупнее, чем это делала жена Рыжебородого, — будто медведь косолапый прошел. И странно, по мнению учительницы, Омрыкай сумел этими знаками сообщить весть, что чья-то мама шила кому-то рукавицы.

— А не можешь ли ты, Омрыкай, сообщить белыми знаками, что я приехал к вам в гости? — спросил Пойгин, покидая тесную деревянную подставку и садясь в угол на корточки. Омрыкай обескураженно развел руками, очень раздосадованный тем, что его попросили сделать нечто пока для него непосильное.

— Я лучше тебе сообщу весть о том, что брат убил зайца, — сказал Омрыкай, отчаянно пытаясь доказать, что он здесь один из лучших знатоков разговора для глаз, в котором совершенно не обязательны уши.

— Зачем мне твой заяц, гоняйся за ним сам вместе с твоим братом, — шутливо сказал Пойгин, раскуривая трубку. — Ты мне сообщи именно ту весть, о которой я тебя попросил.

— Он еще не может этого сделать, — с улыбкой сказала жена Рыжебородого. — Я это сделаю сама. Вытри, Омрыкай, тряпкой доску и садись на место.

Мальчик принялся уничтожать следы на черной доске влажной тряпкой с таким старанием, что дети опять рассмеялись, кто-то даже пошутил:

— Пыхтит так, будто моржа из моря на берег вытаскивает.

И когда Омрыкай сел на место, учительница взяла кусок белой глины и сказала:

— Весть эта будет выглядеть так.

Пойгин, не донеся трубку до рта, напряженно следил за тем, как возникали на черной доске белые знаки.

— Ну вот, а теперь я раскрою тайну знаков этой вести, прочту написанное. Слушай, Пойгин, слушайте, дети, — торжественно объявила жена Рыжебородого и медленно, внятно прочла: — Пойгин приехал к нам в гости. — Помолчала, как бы любуясь произведенным впечатлением, и сказала: — Я могу кое-что еще и добавить.

И опять Пойгин не донес трубку до рта, наблюдая за тем, как учительница вычерчивала новые белые знаки.

— Слушайте, вот тут я сообщаю: Пойгин очень желанный для нас гость, потому что он честно живущий человек.

Пойгин встал, напряженно вглядываясь в доску издали, потом медленно подошел к ней вплотную, потрогал знаки рукой и спросил очень тихо, как обычно бывает, когда хотят узнать тайну:

— А какие знаки здесь обозначают мое имя?

Жена Рыжебородого подчеркнула несколько плотно стоящих рядом друг с другом знаков.

— Вот это слово обозначает твое имя.

Пойгин пересчитал все знаки, дотрагиваясь до каждого из них пальцем, и, одолевая непонятный страх, смущенно улыбнулся:

— Значит, мое имя состоит из шести знаков. А почему ты полагаешь, что я честно живущий человек?

— Я чувствую и все мы тут чувствуем, что ты пришел с добром, что ты хочешь узнать, как здесь живется детям, волнуешься за них. — Учительница показала широким жестом на детей. — Вот потому я и догадалась, что ты добрый и честно живущий человек.

— Конечно, тут можно кое о чем догадаться, — раздумчиво согласился Пойгин. — Хотя можно и ошибиться. Мне приятно, что ты так думаешь обо мне. Не затянешься ли из моей трубки?

Пойгин помнил, что говорил Рыжебородый про табак, но согласиться с ним не мог: трубка есть трубка, ее курят и мужчины, и женщины, она согревает своим теплом всех, кто предрасположен к мирной беседе.

Жена Рыжебородого какое-то время помедлила и вдруг с отчаянной решимостью приняла трубку, вдохнула дым и закашлялась до слез. Дети сначала испугались, но когда учительница засмеялась — ответили ей облегченным вздохом, а затем дружным смехом. И было видно по их лицам, как они благодарны учительнице за приветливое отношение к гостю, как они, пожалуй, даже любят ее. Смеялась учительница, смеялись дети, рассмеялся наконец и Пойгин, думая о том, что за действиями и словами этой синеглазой женщины, кроме добра, пожалуй, ничего другого не кроется, и вряд ли здесь возможно проявление затаенных злых помыслов.

С этим чувством и вышел Пойгин на волю, у входа повстречался с Рыжебородым:

— Твоя жена приняла мою трубку. Белыми знаками на черной доске она сообщила очень приятную для меня весть, что я доро-

гой здесь гость и что я честно живущий человек.

— Это истинная правда! — обрадованно воскликнул Рыжебородый. — Надеюсь, ты расскажешь в тундре, чтобы все знали, как мы умеем понимать хороших людей, пусть все едут к нам посмотреть, как мы живем.

И опять холодок настороженности вселился в душу Пойгина: нет ли в словах Рыжебородого хвастовства и еще чего-то такого, что рождает злые помыслы? А может, кроме всего прочего, еще и потому не понравились слова Рыжебородого Пойгину, что он пока и в самой малой степени не представлял, с какими вестями предстанет перед главными людьми тундры? Не лучше ли будет, если он ничего им не скажет: пусть приезжают сами и все постигают собственной головой, а уж потом он выскажет свое мнение. Но каково оно, его мнение, что надо думать ему обо всем увиденном?..

С этой мыслью Пойгин ходил по культбазе до самого вечера, приглядываясь к каждой мелочи, заглянул даже в деревянное вместилище, где, как рассказали дети, их моют с ног до головы теплой водой. Пойгин и сам хотел бы ощутить теплую воду на собственном теле, но что-то смущало и даже пугало его: детишкам это, может, и позволительно, для них это вроде бы забава, а как он, взрослый человек, разденется догола и станет обливать себя водой?

9

Когда в стойбище Рыжебородого было все осмотрено, Пойгин все-таки решил заглянуть в ярангу Ятчоля и заночевать у него. Неплохо было бы высушить одежду и обувь после трех ночевок, проведенных в снегу. К тому же Пойгин оказался настолько переполнен впечатлениями от всего увиденного и услышанного, что надо было хоть немного прийти в себя в привычной обстановке. Не помешает, пожалуй, послушать и Ятчоля, хотя и нет особого смысла ждать от него серьезных и правдивых вестей.

Ятчоль встретил Пойгина возле своей яранги возгласом искреннего изумления:

— Ка кумэй! Ты откуда здесь взялся?

Не знал Пойгин, что Ятчоль еще с утра заприметил, кто прибыл из тундры, и что на совести бывшего соседа уже есть на него донос.

— Приехал посмотреть, что происходит в стойбище Рыжебородого, хочу понять здешнюю жизнь.

— Заехал бы прямо ко мне, я бы тебе рассказал...

— Не мог я надеяться, что ты обрадуешься моему появлению.

— Нет, ты не прав, Пойгин! Я буду очень рад твоему появлению в моей яранге. И Мэмэль тоже будет рада. Пойдем поскорее в полог, я буду угощать тебя бражкой.

— Что такое бражка?

— Это такая веселящая жидкость. Научил меня готовить ее Кулитуль из берегового стойбища Волчья Голова.

— Знаю я Кулитуля, любит он ходить с дурной головой, кричать на всю вселенную. Боюсь я вашей веселящей жидкости, да и не очень хочу веселиться.

— Почему же так? Наверно, не понравились тебе порядки в стойбище Рыжебородого? — хитро вильнув узенькими глазами, поинтересовался Ятчоль. — Мне самому здесь многое не нравится, пойдем поскорее в полог, я обо всем расскажу. И почему покинул стойбище Лисий Хвост, расскажу.

Пойгин не стал отвечать на вопрос Ятчоля, а тот болтал без умолку:

— Сюда много приезжает и морских, и оленных людей посмотреть на культпач, послушать, что тут говорят о новых порядках. А я вот, видишь, перекочевал сюда, стал хозяином огня всех деревянных жилищ, делал там теплоту. Без меня они все померзли бы, как букашки. Теперь отказался быть хозяином огня, надоело мне делать им теплоту, опять стал охотником.

Пойгин слушал Ятчоля с едва приметной усмешкой и думал о том, что предстоит нежеланная ночевка бок о бок с лживым человеком и что лучше было бы опять переночевать в снегу или в деревянном жилище Рыжебородого. Но Ятчоль уже тащил его за руку в ярангу.

Мэмэль встретила Пойгина радостным возгласом:

— О, ты пришел! Если бы ждала, хотя бы немного прибрала в пологе.

Пойгин давно знал, насколько Мэмэль неряшлива, и ничего не ответил, выбирая место, не столь захламленное шкурами, посудой и еще какими-то странными предметами.

— Это вот называется бочонок, в нем возникает веселящая сила бражки, — пояснил Ятчоль.

Мэмэль спешно надевала на себя свои украшения. На ней была матерчатая одежда пришельцев, только очень засаленная, так что трудно разобрать ее цвет.

— Видишь, как она себя украшает? — лукаво спросил Ятчоль, кивнув в сторону жены. — Она всегда хотела тебе понравиться, а ты не желаешь этого понять.

— Ничего, сегодня поймет, — многозначительно сказала Мэмэль, кидая кокетливые

взгляды на Пойгина. — Попробует веселящей жидкости и поймет.

Пойгин наклонился к бочонку, понюхал его и так сморщился, что Мэмэль расхохоталась.

— Никогда еще я не знал такого дурного запаха, — сказал Пойгин, отодвигаясь от бочонка. — Если это так скверно по запаху, то как же будет на вкус? Наверно, очень противно.

— Сейчас попробуем! — все более возбуждался Ятчоль, предвкушая веселье. — Прибери, Мэмэль, хоть немного в пологе и дай нам чаю и нерпичьего мяса.

Чай Пойгин пил с огромным наслаждением, блаженно закрывая глаза. Его клонило ко сну: сказывались три ночи, проведенные в снегу, где сон был не столь уж и крепким.

— Если ты приехал сюда затем, чтобы опять перекочевать на берег, то лучше уходи от этого места как можно дальше, — советовал Ятчоль, протягивая трубку Пойгину. — Шаманов здесь очень не любят. Рыжебородому все равно, какой ты шаман — белый или черный, для него ты просто шаман.

— Я слыхала, шаманам будут отрубать руки, чтобы не могли колотить в бубен, и отрезать языки, чтобы не могли произносить заклинания, — округлив глаза, сообщила жуткую весть Мэмэль. — Русские только прикидываются добрыми. Чугунов запретил торговать Ятчолю, все перестали брать у нас хоть что-нибудь в долг. Совсем обессилил Чугунов Ятчоля. А Рыжебородый прогнал Ятчоля от печей, не велит ему быть хозяином огня.

Ятчоль возмущенно посмотрел на жену, наболтавшую лишнего.

— Я сам ушел! — сердито сказал он. — Если голова твоя глупа, как у нерпы, то и молчи.

— Это твоя голова не имеет ума, как болотная кочка! — вскричала Мэмэль. Пухлые щеки ее стали еще краснее, а в глазах бушевало негодование. — Когда ты был хозяином огня, нам было хорошо, мы ели всякую вкусную еду пришельцев. Теперь жди, когда ты притащишь нерпу с моря.

— Да, плохо, совсем плохо стало, — пожаловался Ятчоль Пойгину, стараясь не обращать внимания на сварливую жену. — Ухожу в морские льды каждый день, ищу нерпичьи отдушины, а их нет, ушла куда-то нерпа.

— Это ты каждый день уходишь в морские льды? — со злой насмешкой спросила Мэмэль. — Да ты все спишь и спишь, как медведь в берлоге.

Пойгин слушал перебранку хозяев яранги и думал о Кайти. Разве она позволила бы себе разговаривать с мужем вот так неуважительно? Как давно он ее не видел. Правда, прошло всего несколько суток, а можно подумать, что с тех пор уже посетило землю солнце и опять укочевало в другие миры, оставив людей один на один с луной на долгую зиму.

— Значит, Рыжебородый не стал вашим другом? — дознавался Пойгин, стараясь понять, каков же в конце концов этот человек.

— Зачем нам такой друг! — сварливо воскликнула Мэмэль. — У него борода, как у кэйнына, и все тело в волосах, так что еще неизвестно, человек ли он, может, кэйнын — обернувшийся человеком.

— Да какой он кэйнын, обыкновенный человек, — вяло возразил Ятчоль, не желая в своем представлении наделять Рыжебородого сверхъестественной силой. — Давайте лучше поскорее выпьем бражки.

А Пойгин думал о своем: если нет у Ятчоля дружбы с Рыжебородым, то это многое объясняет, тут можно прийти к благоприятному выводу. Выходит, совсем не случайно и то, что Ятчоля все-таки понял русский торговый человек...

— Зачем безбородый пришелец носит вторые стеклянные глаза? — спросил Пойгин, наблюдая, как вывсрачивает Мэмэль для просушки его торбаза.

— Я так думаю, что носит он их для туману, — объяснил Ятчоль, откупоривая бочонок. — Я как-то сам надел на нос эти стекляшки, и сразу передо мной появился туман.

— Зачем для глаз человека туман, если он лучше всего видит при солнце? — спросил Пойгин, не очень веря тому, что сказал Ятчоль.

— Кто их поймет, этих пришельцев. У них все наоборот. Это я понял давно, еще когда приплывали к нам американцы из-за пролива на шхунах. Людям, к примеру, полагается сначала попить чаю, потом поесть мяса и опять попить чайку. А они пьют чай только после еды.

— Женщины зачем-то закрывают грудь, а ноги оголяют до самых коленей, — поделился и Пойгин своим наблюдением о странностях пришельцев.

Пробку Ятчоль вытаскивал из дыры бочонка с крайней осторожностью, время от времени прикладывая ухо к нему.

— Мэмэль, где кружки? — закричал он, тараща глаза.

Мэмэль торопливо поставила перед мужем три железные кружки. Резкий незнакомый запах заставил Пойгина отшатнуться. Из бочки, пенясь, хлынула темная жидкость, проливаясь на шкуры.

— Подставляй кружки! — закричал Ятчоль, обращаясь к жене. — Видишь, как зря уходит веселящая сила! Кастрюлю, лучше кастрюлю подставь!

Наконец кружки были наполнены. Одну из них Ятчоль протянул Пойгину и просительно сказал:

— Ты выпей, не бойся. Я хочу, чтобы веселящая сила обезвредила духа вражды между нами.

Ятчоль и Мэмэль опорожнили кружки, не переводя дыхания. Пойгин отпил всего глоток и так сморщился, что Мэмэль опять расхохоталась.

— Не могу. Дайте сначала поесть как следует мяса, — попросил Пойгин, отставляя кружку в сторону. — Я не успел сегодня увидеть русских шаманов. Верно ли, что они умеют изгонять из людей болезни?

Ятчоль приложил руки к животу, чему-то засмеялся.

— У меня сильно разболелся живот. Пришел к доктору. — так называют здесь пришельцы своих шаманов. Он сидел во всем белом, положил меня на белую подставку, велел спустить штаны. Потом стал мять руками мой живот. Я от щекотки сначала смеялся, потом закричал. Он подумал, что я кричу от боли, схватил вот такой большущий нож и говорит: потерпи немножко, я сейчас вырежу болезнь из твоего живота. И потом воткнул в меня нож по самую рукоятку.

— Да врет, врет он! — замахала обеими руками Мэмэль на мужа. — Он однажды пришел и сказал, что доктор отрезал его детородный предмет. Я сначала немножко пожалела, а потом стала смеяться. Так он едва меня не убил!

Ятчоль выпил еще одну кружку веселящей жидкости, потребовал, чтобы то же самое сделал и Пойгин. Отпив несколько глотков бражки, Пойгин почувствовал, что на него накатывает волна великодушия и доброты; ему подумалось, что Ятчоль искренне желает с ним помириться. Выпив еще одну кружку веселящей жидкости, Пойгин растроганно сказал:

— Я согласен, давай уничтожим духа нашей вражды. Я, может, снова вернусь на берег. Возьму Кайти и поставлю свою ярангу рядом с твоей.

— Не надо Кайти! — капризно потребовала Мэмэль. — Я не люблю твою Кайти. Я лучше ее.

Пойгин нахмурился, обиженный за Кайти, сказал Ятчолю:

— Упрекни свою жену за плохие слова о Кайти. Упрекни. Иначе я покину ваш очаг.

Ятчоль ткнул в сторону жены пальцем, с трудом поднял отяжелевшие веки.

— Мэмэль, я тебя упрекаю! Ты не должна обижать нашего гостя. Дай нам лучше еще мяса нерпы.

— Ладно, я доволен, — сказал Пойгин, благодарно глядя на Ятчоля. — Мне хорошо, что дух вражды покидает нас. Я белый шаман. Я не хочу никому зла.

Ятчоль вскинул голову, какое-то время с откровенной ненавистью смотрел на Пойгина и вдруг зло засмеялся.

— Вот за это тебе пришельцы и отрубят руки, отрежут язык и, может, еще и выколют глаза, чтобы ты не видел солнца.

Изумленный Пойгин не мог поверить своим ушам: человек который только что хотел изгнать духа вражды, вдруг опять заговорил как враг, даже налились кровью его глаза.

— Почему ты опять стал злой? — с величайшим недоумением спросил Пойгин.

— Ты всегда побеждал меня, и люди смеялись надо мной. Теперь я хочу победить тебя! Я скажу Рыжебородому, что ты шаман, пусть он выколет тебе глаза.

Пойгин хотел заявить, что он немедленно покидает очаг Ятчоля, но волна великодушия утопила его в море доброты:

— Я знаю, ты шутишь, Ятчоль, Рыжебородый совсем не злой. Я видел его. Я сидел с ним целую ночь у костра.

— Я подожгу его дом! Почему он обидел меня? Почему? — Ятчоль приблизил свое лицо почти вплотную к лицу Пойгина. — Он сначала сделал меня хозяином огня. Я гордился этим. Он сам сказал, что я хозяин огня, учил разжигать печи. Потом сказал, чтобы я на расстоянии одного выстрела не подходил ни к одной печке...

— Значит, ты что-то делал не так...

— Это я, я делал не так?

Мэмэль попыталась оттащить Ятчоля от Пойгина, боясь, как бы он не стал драться Прильнув к Пойгину так, как это может сделать лишь женщина, она сказала голосом, размягченным необоримым желанием понравиться гостю:

— Я лучше, лучше твоей Кайти. — Почувствовав, что Пойгин пытается отстраниться, она добавила обиженно: — Ты всегда смотрел на меня так, будто я тень или туман. А я не тень и не туман, вот приложи сюда руку...

Ятчоль, не обращая внимания на явные попытки жены соблазнить Пойгина, наливал из бочонка в кастрюлю бражку. Затем попытался разлить ее по кружкам. Плеснув на шкуры, принялся пить прямо из кастрюли.

— Вот увидишь, я подожгу его дом, — опять вернулся он к угрозам Рыжебородому.

— Ты сказал, что твоя бражка имеет веселящую силу, а почему стал такой злой?.. — печально спросил Пойгин, чувствуя, как у него непривычно закружилась голова.

— Я не могу веселиться, когда ты рядом. Я всегда ненавидел тебя!

— Э, выходит, у твоей бражки сила злобная. Когда ты не был пьяный, ты говорил добрые слова, был рад, что я пришел к твоему очагу.

— Я не был рад. И Мэмэль не была рада.

— Нет, я очень рада! — пьяно покачиваясь, возразила Мэмэль. — Я всегда рада видеть его...

Мэмэль говорила правду: Пойгин давно вызывал в ней желание казаться самой красивой женщиной. Она ловила его взгляды, ждала, когда он ответит на ее улыбку, ревновала к Кайти. Если существовал на свете мужчина, который являлся ей во сне, — так это был Пойгин. Но странно, он редко останавливал на ней взгляд, а если и смотрел на нее, то как на пустое место.

— Ну, если рада, то можешь спать сегодня с ним! — Ятчоль хотел было плеснуть в Пойгина бражкой, но раздумал, выпил ее. — Можешь спать с ним. Я поеду в тундру, буду спать с Кайти. А ты, глупая нерпа, мне надоела.

Волна великодушия постепенно уходила от Пойгина. Ему вдруг стало очень обидно за Кайти, за себя. Можно было бы немедленно уйти из яранги Ятчоля, но Мэмэль вывернула всю его одежду, чтобы просушить. «Буду молчать», — решил он. С ним случалось иногда такое, он мог молчать по нескольку суток, если в его душу вселялась обида.

Расстелив наваленные как попало оленьи шкуры у стенки полога, он лег лицом вверх, закрыл глаза. Ятчоль какое-то время грозился уже поджечь всю вселенную, поскольку по-прежнему считал себя хозяином огня, потом затих, внезапно сморенный беспробудным сном.

Мэмэль, насколько было возможно, прибрала в пологе. Она хотела создать хоть какой-то уют, надеясь расположить к себе Пойгина. Он должен сегодня всю ночь принадлежать ей, ей, ей! А Ятчоля даже рев умки у самого его уха не разбудит. Томимая чувственной силой, она почти сорвала с себя засаленное платье и, склонившись над Пойгином, какое-то время смотрела ему в лицо, тяжело дыша. Тот лежал словно мертвый, не открывая глаза. Мэмэль судорожно ощупала лицо Пойгина, жадно вдыхая запах его тела, коснулась грудью его груди. Пойгин вдруг резко поднялся, глядя не столько на Мэмэль, сколько сквозь нее, словно она действительно была сотворена не из живой плоти, а из тумана.

— Ты почему опять смотришь на меня и не видишь меня? Ты хочешь Кайти увидеть? Так нет, нет здесь ее, нет! Я лучше, лучше ее!

— Уйди, ты мне противна, — сказал Пойгин и снова уронил голову на шкуры, закрыв глаза.

Мэмэль уткнула голову себе в колени и заплакала. Пойгин по-прежнему лежал неподвижно, казалось, что он и дышать перестал.

И вдруг Мэмэль, погасив светильник, ударила обеими ладошками по груди Пойгина и зло сказала ему прямо в лицо:

— Ты не живой. Ты не из тела, а весь из камня. Не зря говорят, что ты не способен на детородный восторг!

Одолевая головокружение, Пойгин приподнялся.

— Не способный? — вымолвил он с яростью. — Я не способный?!

И засмеялась Мэмэль от злорадства и счастья, опрокинутая на шкуры. Она смеялась и плакала, не в силах поверить, что Пойгин теперь знает, из чего она создана. Нет, она не тень, она не из тумана, она из горячего, живого тела. Мэмэль плакала и смеялась и так бурно дышала, словно хотела, чтобы все сущее в этом мире знало, что с ней происходит.

Тяжким было утро для обитателей яранги Ятчоля. Особенно страдал сам Ятчоль. Прикладывая руку ко лбу, он качал по-медвежьи головой и глухо не то стонал, не то рычал. У Пойгина было мутно не только в голове, но и на душе. Он ненавидел Мэмэль, еще больше самого себя.

Мэмэль готовила завтрак, украдкой поглядывая на Пойгина. Во взгляде ее было больше тревоги, чем торжества победительницы: она боялась, как бы Пойгин чем-нибудь не унизил ее — это могло умалить ее победу. Мэмэль понимала, что заслужить благосклонность Пойгина очень трудно и лучше стараться ничем не напоминать ему о случившемся.

— Ты с кем спала эту ночь? — вдруг грубо спросил Ятчоль, переводя полный подозрения взгляд с жены на Пойгина. — Я тебя спрашиваю, глупая нерпа!

Пойгин вкладывал травяные стельки в свои просушенные торбаза. Засунув руку в один из торбазов, он замер, мучительно ожидая, что ответит Мэмэль.

— Уходила в море, чтобы найти себе моржа! — с вызовом ответила Мэмэль, вырывая из рук Пойгина торбаз. Поправила в нем стель-

ку и добавила: — Я хоть и глупая нерпа, но догадалась, что в этом пологе нет настоящих мужчин.

Ятчолю ответ жены настолько понравился, что он рассмеялся, затем сказал Пойгину:

— А я, будь Кайти рядом, не забыл бы, что пребываю в этом мире мужчиной.

Пойгин промолчал. Выпив кружку чая, он вяло съел кусок нерпичьего мяса, принялся обуваться.

— Ты почему молчишь? — спросил Ятчоль. — Обиделся? Ну, ну, обижайся. Я сам всю жизнь на тебя обижаюсь.

Пойгин и на этот раз промолчал. Он так и ушел из яранги, не сказав ни слова. Ятчоль не проводил гостя. Мэмэль выбежала из яранги, когда Пойгин был уже далеко. Она долго смотрела ему в спину, горько улыбаясь. И чем дальше уходил Пойгин, тем сиротливее становилось ей, пожалуй, впервые в жизни она так остро почувствовала, что такое тоска.

Пойгин проведал собак, осмотрел упряжь, нарту, готовясь в обратный путь. Корма для собак оказалось мало, не было и для самого Пойгина никаких запасов, кроме небольшого кусочка плиточного чая. Была здесь фактория, однако, чтобы купить хотя бы плитку чая, — требовались деньги. Где их возьмет Пойгин? Идти к Ятчолю за помощью? Нет, Пойгин ни за что такое себе не позволит.

Раскурив трубку, Пойгин присел на нарту, угрюмо задумался. Кажется, никогда еще не было у него на душе так плохо. Что он скажет, когда вернется в стойбище Эттыкая? Как будет вести себя с главными людьми тундры? Как он посмотрит в глаза Кайти после того, что произошло у него с Мэмэль? Зачем он пошел в ярангу Ятчоля? Лучше бы переночевал с собаками или уж в деревянном жилище Рыжебородого.

10

Пойгин сидел в безнадежном оцепенении. Скулила одна из собак, зализывая ранку на левой передней лапе. Пойгин присел на корточки перед собакой, оглядел рану, подул на нее; потом достал из походного нерпичьего мешка меховой чулочек, осторожно надел на лапу. Собака благодарно завиляла хвостом, улеглась в снежной лунке, свернувшись в комочек. Пойгин опять присел на нарту.

Услышав позади себя скрип снега от шагов человека, нехотя оглянулся: к нарте шел Рыжебородый.

— Выходит, ты заночевал у Ятчоля? — спросил Рыжебородый, внимательно вглядываясь в лицо Пойгина. — Я ждал тебя.

Пойгин промолчал, стараясь не встречаться со взглядом Рыжебородого.

— У тебя плохое настроение, — продолжал Рыжебородый, усаживаясь на нарту. — И я постарался бы этого не замечать, если бы не надеялся, что смогу тебе помочь. Я вижу, ты собираешься в обратный путь.

— Надо ехать, — скупо отозвался Пойгин.

— Путь твой, насколько я помню по твоему рассказу, в три перегона собачьей упряжки, с двумя ночевками в тундре. К тому же может случиться пурга, — Рыжебородый заглянул в нерпичью сумку, где находились остатки мерзлого оленьего мяса для собак. — Пищи для упряжки у тебя на одну кормежку, не больше.

— Да, не больше.

— Сейчас принесут нерпичьего мяса для собак на десять кормежек. Будет и для тебя в дорогу на десять дней чая, мяса, галет, сахару, табаку.

— У меня нет ничего, что я мог бы дать взамен.

— Может так случиться, что ты будешь провожать и меня в дальний путь. И ничего у меня не окажется взамен, кроме сердечной благодарности.

— Что ж, люди так и должны жить.

— Именно так, — согласился Рыжебородый. — Теперь пойдем ко мне пить чай. Омрыкай со своими друзьями снарядит твою нарту в дальний путь, он умеет это делать. Мы таким образом часто провожаем своих гостей, это наш обычай.

— Хороший обычай, — по-прежнему сдержанно ответил Пойгин, хотя на душе у него стало теплее.

Пил чай Пойгин с Рыжебородым в том же деревянном жилище, в которое он впервые вошел не далее вчерашнего дня. За столом они на этот раз сидели вдвоем. Когда Пойгин выпил третью чашку чая — почувствовал, что в голове стало светлее. Рыжебородый молча наблюдал за ним. Заметив, что Пойгин слабо улыбнулся, сказал:

— Бражку Ятчоля ты пил зря.

— Откуда знаешь, что я пил бражку?

— Я это увидел по твоему лицу. Не было бы для меня ничего печальнее, если бы ты стал таким же, как Ятчоль.

— Нет, я не хочу быть таким, как Ятчоль! — протестующе воскликнул Пойгин.

— У тебя есть друзья там, куда ты едешь? — думая о чем-то своем, спросил Рыжебородый.

— У меня есть жена Кайти. Ее и только ее очень хочу поскорее увидеть

— Понимаю. А кроме жены?

— Есть там еще Гатле. С детства ему было предопределено быть женщиной, хотя он родился мужчиной. Плохо живет Гатле. Его почти никогда не пускают в полог. Лишь я да Кайти пытаемся тайно накормить и согреть его.

Рыжебородый грустно качал головой, разглядывая лицо Пойгина с выражением горького сочувствия.

— Враги у тебя там есть?

— Не знаю. Главные люди тундры хотели бы, чтобы я стал их другом.

Пойгину показалось, что у Рыжебородого есть к нему еще какой-то вопрос, но высказать его он не решался. «Ну ясно же, он человек, имеющий ум, и ему надо понять, зачем я нужен главным людям тундры».

— Ты хочешь знать, почему те, кто ушел в горы, хотят, чтобы я был с ними?

— Я рад, что ты угадал мои мысли.

— Всего я тебе пока не скажу, — после долгого молчания ответил Пойгин. — И когда приеду туда, им тоже не все расскажу о тебе.

— Почему?

— Не все в тебе понимаю. И все-таки, думается мне, ты совсем не такой, каким представляют тебя главные люди тундры.

— А каким они меня представляют?

— Человеком, вселяющим безумие в наших детей. Но я, кажется, догадался, что дети здесь не стали безумными... Тут что-то другое.

— Что именно?

— Пока не знаю. Мне надо понять, таит ли в себе злое начало тайна немоговорящих вестей... Черный шаман Вапыскат говорит, что в этом может быть только самое страшное зло.

— Вапыскат? Почему его так назвали?

— Потому что он весь в болячках. Кто-то наслал на него порчу. — Пойгин показал пальцем на бороду собеседника. — Не хотел говорить тебе, но, пожалуй, скажу. Вапыскат велел мне привезти хотя бы несколько волосков из твоей бороды.

— Зачем?

Пойгин замялся.

— Ну, ну, говори. Я умру, если не узнаю, зачем понадобились волосы из моей бороды черному шаману, — пошутил Рыжебородый.

Пойгина озадачило столь легкомысленное отношение Рыжебородого к тому, что ему было сказано о намерениях черного шамана.

— Ты зря смеешься, — понизив голос, сказал Пойгин с таинственным видом человека, знающего всю степень опасности, нависшей над его собеседником. — Если Вапыскат заполучит хоть кусочек твоего ногтя, он нашлет на тебя порчу, и все твое тело покроется язвами.

Пойгин ждал следов невольного страха на лице Рыжебородого, но тот вдруг откровенно расхохотался.

— Ты на меня не обижайся, — попросил он, унимая хохот. — Я над черным шаманом смеюсь. Я готов отстричь клок своей бороды и передать ему.

Рыжебородый отыскал ножницы, отхватил клок своей бороды.

— Вот, на, возьми. Хватит? Я могу и больше, да боюсь, жена разлюбит, — продолжал он шутить самым легкомысленным образом. — Я сейчас заверну эти волосы в бумагу. Вот так. На, передай мой подарок черному шаману, страдающему от болячек. Пусть насылает на меня порчу. А я попытаюсь с помощью докторов вылечить его болячки, если он на то согласится. Пусть приезжает, и мы устроим наш поединок! Я к нему с добром, а он ко мне со злом, посмотрим, за кем будет победа.

Пойгин принял завернутые в бумагу волосы, не зная, что с ними делать.

— Нет, я это не возьму, — наконец решительно сказал он, — хотя ты мне и не друг, но, наверно, все-таки и не враг. Я не хочу, чтобы тело твое покрылось язвами.

— Нет, ты возьмешь! — весело настаивал Рыжебородый. — Я на тебя очень обижусь, если ты не исполнишь мою просьбу. Я вступаю в поединок с черным шаманом, понимаешь? Ты не можешь мне отказать, если я вступаю в поединок.

— Ну, если ты вступаешь в поединок, я передам, — не совсем уверенно пообещал Пойгин и спрятал волосы в кожаный мешочек для табака. — Пожалуй, надо отправляться в путь. Но мне очень хотелось бы повидать Рагтыну.

— Ты ее знаешь?

— Да, я ее лечил.

— Как?

— Я уводил ее к солнцу, просил в заклятьях солнечный луч проникнуть в ее сердце, изгнать немочь. Не помогло.

Рыжебородый опять грустно покачал головой и сказал:

— Да, она очень больна. Врач говорит, что у нее очень больное сердце. Девочка родилась с этой болезнью.

Пойгин резко наклонился к Рыжебородому, заглядывая в его лицо с острой надеждой:

— Если ты изгонишь немочь из ее сердца — я до конца поверю тебе. И тогда никто не заставит меня думать, что вы мне враги. Рагтына мне как дочь.

— Да, да, я понимаю.

От Пойгина не скрылось, что в глазах Рыжебородого, в самой их глубине, таились боль и тревога.

— Ну, так приедешь к нам на праздник настоящего человека? — перевел Рыжебородый разговор на другое. — Будут большие оленьи скачки.

— У меня нет своих оленей, — Пойгин раскурил трубку, хотел было предложить Рыжебородому, но, заметив его улыбку, рассмеялся. — Жена твоя заплакала от моей трубки.

— Вот и я боюсь заплакать, — пошутил Рыжебородый.

— А оленьих скачек у тебя не будет, — вдруг предрек Пойгин.

— Почему?

— У берега снег ветрами прибит, олени здесь не могут добывать ягель.

— Что ж, уедем в тундру.

— Я покажу тебе хорошее место, в долине Золотого камня, там можно устроить оленьи скачки, — пообещал Пойгин. — Это как раз на моем пути.

Рыжебородый обрадовался предложению гостя:

— Я готов поехать с тобой немедленно. Сейчас велю запрячь мою собачью упряжку.

Вход распахнулся, и Пойгин опять увидел сына Рыжебородого. Щеки мальчика румянились от мороза, синие, как у матери, глаза смотрели весело и приветливо.

— Мы вместе с Омрыкаем упаковали нарту, — сказал он по-чукотски. — Я хочу, чтобы в дороге нашему гостю была во всем удача.

Чукотские слова мальчик выговаривал плоховато, однако Пойгин догадался, о чем он сообщил.

— Спасибо тебе, — поблагодарил Пойгин.

Мальчик смущенно заулыбался, что-то сказал отцу и ушел.

Мог ли знать в ту пору Пойгин, кого он благодарил? Если бы ему кто-нибудь предсказал, что он увидел своего будущего зятя, что он когда-нибудь породнится с Рыжебородым — он только расхохотался бы, изумляясь нелепости такого предсказания...

11

Вторые сутки едет Пойгин, добираясь до стойбища Эттыкая, упрятанного в дальних отрогах Анадырского хребта. Вчера он простился в долине Золотого камня с Рыжебородым. Остановив упряжки против мыса, на котором возвышался каменный столб, прозванный Золотым, они разожгли костер, чтобы на прощанье попить чаю.

— Лучшее место для праздника найти трудно, — сказал Рыжебородый, оглядывая речную долину.

Пойгин в знак согласия кивнул головой и спросил, думая о своем:

— Что, если я не отдам волосы из твоей бороды черному шаману?

— Я на тебя обижусь.

— Могу ли я сказать, что ты делаешь вызов на поединок?

Рыжебородый помолчал, задумчиво разглядывая лицо Пойгина.

— Я хотел бы, чтобы Вапыскат знал, что это вызов.

— Тебе или неведом страх, или ты не знаешь силу шаманов.

— Я чувствую свою силу...

Так они попрощались.

Бегут и бегут собаки. Морды их заиндевели, глаза поблескивают сквозь бахрому изморози. Пойгин останавливает нарту, обтирает морды собак от инея. И опять скрипят полозья.

Чтобы согреться, Пойгин долго бежал рядом с нартой. Любил он долгий, неутомимый бег. Случалось, что за весь перегон собачьей упряжки ни разу не садился он на нарту. Ему было знакомо чувство, когда сердце, казалось, готовое выскочить из груди, постепенно, как птица, переходило в ровный, ненатужный полет и грудь дышала глубоко и вольно. Тогда можно было и дальше бежать и бежать, словно бы догоняя самую светлую мечту.

Сейчас Пойгин мечтал о Кайти. Пока она далеко-далеко, где-то в горах, которые даже легкой синей тенью не намекают о себе в бескрайней подлунной дали. Но с каждым мгновением он все ближе, ближе к тому месту, где его ждет Кайти. Увидит он ее в конце третьего перегона, как раз тогда, когда люди спрячутся в полог для сна. Только бы никто ему не помешал увидеть Кайти! Только бы остаться с ней один на один в ее теплом, всегда таком опрятном пологе.

Когда Пойгин уезжал, Кайти созналась, что в ней зародилась новая жизнь. Значит, у них будет сын. А может, дочь. Закончится еще одна ночевка в снегу, а на следующую Пойгин уже будет лежать рядом с Кайти. Он положит руку на ее живот, будет слушать, как проявляет себя новая жизнь. Как тепло и светло ему всегда с Кайти! Она будет что-то нашептывать ему, а он, согревшись, начнет заново постигать ее не только глазами, слухом, но и вот этими ладонями, которым так жарко в рукавицах от бесконечного бега. Пойгин сорвал с себя рукавицы, вгляделся на бегу в ладони: они знали каждый изгиб тела Кайти, они были словно бы его

вторыми глазами в непроницаемой тьме теплого полога.

Прибыл Пойгин в стойбище Эттыкая точно в то самое время, когда люди только что спрятались каждый в свой полог на ночь, вошел в ярангу Эттыкая и обмер, не увидев рядом с пологом хозяев маленького полога Кайти. Недоброе предчувствие подломило ноги Пойгина. Он присел на ворох шкур, потянулся за трубкой, чутко прислушиваясь к голосам в пологе хозяина. Вот, кажется, что-то сказал Рырка. А вот и послышался раздраженный голос Вапыската: значит, главные люди тундры все здесь. Будь они прокляты! Меньше всего хотел бы Пойгин видеть именно их. Ему нужна Кайти, Кайти и только Кайти! Где же Гатле? Он всегда ютился, как тень, в этом холодном шатре, подстилая шкуры где-нибудь в уголке, тщетно стараясь согреться. Где же он теперь?

Шкура, закрывающая вход в ярангу, шевельнулась, и привидением показался Гатле, жестом предложил Пойгину выйти из яранги. Тот бесшумно поднялся, пошел вслед за Гатле, вкрадчиво шагавшим к грузовым оленьим нартам.

— Где Кайти?!

Гатле трудно сглотнул, будто у него мучительно болело горло, и ответил:

— Они куда-то ее увезли.

— Кто увез?

— Вапыскат, — и, еще более понизив голос, Гатле добавил: — Я прислушивался, что говорят в пологе Эттыкая, но никак не мог понять, куда они упрятали Кайти.

— Я их перестреляю, — в бешенстве погрозил Пойгин.

— Будь благоразумен, — с печальной просительной улыбкой сказал Гатле. — Они могут убить тебя. Они тебя очень ждут. Думаю, если ты хоть чем-нибудь порадуешь их, — они скажут, где Кайти.

— Не знаю, смогу ли я их порадовать, — словно бы только для самого себя тихо сказал Пойгин.

— Будь осторожен, — опять попросил Гатле. — Вы с Кайти самые дорогие для меня люди. Если и надо еще пребывать мне в этом мире, то лишь для того, чтобы видеть и слышать вас.

Медленно, в глубокой задумчивости подошел Пойгин к яранге Эттыкая. Войдя в шатер, замер.

Чоургын полога поднялся, и Пойгин увидел голову Мумкыль.

— О, ты пришел! — громко воскликнула она и тут же спряталась. Голоса в пологе смолкли. Чоургын опять приподнялся, и на этот раз показалась голова Эттыкая.

— Наконец ты вернулся! Скорее входи в полог.

Выбив снег из кухлянки тиуйгином, Пойгин забрался в полог с видом мрачным и глубоко отчужденным. Здесь действительно были все главные люди тундры. Разомлевшие от чая и обильной еды, они лоснились потом и жиром. Молча разглядывал Пойгин каждого из них.

— Сними кухлянку и попей чаю, — наконец нарушил молчание Эттыкай, кивнув жене, чтобы подала чашку.

— Где Кайти? — стараясь сдержать ярость, спросил Пойгин.

— Сними кухлянку и попей сначала чаю, — уже повелительным тоном повторил Эттыкай.

Пойгин медленно стянул с себя кухлянку, принял из рук Мумкыль чашку крепко заваренного чая. Поглядывая зверовато на обитателей полога, остановил пристальный взгляд на Вапыскате. Тот какое-то время выдерживал его взгляд и вдруг принялся усердно чесать свои болячки на груди и боках.

— Зуд моих болячек говорит о том, что Пойгин не выполнил нашего повеления, — изрек он во всеобщей тишине.

— Где Кайти?! — уже не скрывая ярости, повторил Пойгин.

— Ты почему разговариваешь с нами таким громким голосом? — гневно спросил Рырка, высоко вскидывая голову.

— Кайти мы упрятали от Гатле, — притворно-ласковым голоском сказал Эттыкай. — Нам показалось, что она уж слишком его согревала в своем пологе. Я понаблюдал за всем этим и подумал: не станет ли моя вторая жена Гатле вторым мужем твоей Кайти? Или ты согласен, чтобы так было?

— Я спрашиваю, где Кайти?

— Ты почему не отвечаешь на вопрос Эттыкая? — раздувая от бешенства ноздри, спросил Рырка.

— Выгнать его отсюда! — взвился Вапыскат и снова принялся расчесывать свои болячки.

— Сначала мы все-таки послушаем, какие вести принес Пойгин, — примирительно сказал Эттыкай. — Видел ли Рыжебородого?

— Видел, — односложно ответил Пойгин.

В пологе опять установилась тишина, главные люди тундры с нетерпением ждали, что скажет Пойгин дальше. Но тот молчал.

— Ну?! Ты что, подавился мясом?! — Рырка отодвинул от Пойгина деревянное блюдо с олениной. — Или ревность помутила твой рассудок? Ты же знаешь, какого презрения достоин

мужчина, если он способен на ревность. Я давно за тобой замечал...

— Помолчи! — оборвал Вапыскат Рырку. — Я хочу слышать Пойгина, а не тебя.

Рырка угрюмо опустил голову, скулы его, казалось, стали еще тяжелее.

— Я дотронулся до бороды главного пришельца, — зло улыбаясь, сказал Пойгин. — Схватил его за бороду и обжег руку...

— Покажи! — потребовал Вапыскат.

Пойгин протянул руку. Главные люди тундры, касаясь друг друга потными лбами, уставились на его ладонь.

— Твои слова лживые! — вскричал Вапыскат.

— Да, лживые, как оказалась лживой и твоя весть, что борода главного пришельца обжигает, как огонь. Я трогал ее. Это такие же волосы, как вот на голове Рырки.

Пойгин сделал движение, будто хотел дернуть за косичку на макушке Рырки.

— Ты лгун! Ты не был у Рыжебородого! — Вапыскат ткнул пальцем в сторону Пойгина. — Ты побоялся ехать на культпач.

— Не луна ли помогла черному шаману стать таким провидцем?

— Вы слышите? Это опять вызов!

— Да, я, белый шаман, посылаю тебе, черному шаману, вызов! И посрамлю тебя. Увидишь, что в своем провидении ты так же слеп, как слепа луна в сравнении с солнцем.

После этих слов, заставивших онеметь всех главных людей тундры, Пойгин достал мешочек для табака, извлек из него бумажный пакетик. Развернув его, Пойгин показал на протянутой ладони клок ярко-рыжих волос.

— Вот смотрите! Эти волосы — часть существа Рыжебородого.

Главные люди тундры склонились над ладонью Пойгина, опять касаясь друг друга потными лбами. Вапыскат осторожно взял один из волосков, внимательно осмотрел его, часто мигая красными веками. Потом взял весь бумажный пакетик, еще больше раскрыл его и сказал:

— Да, это волосы, и, кажется, рыжие. Неужели ты действительно добыл частичку существа Рыжебородого? Если так — то умереть ему в язвах от моей порчи.

Бумажный пакетик с волосами переходил из рук в руки главных людей тундры. Пойгин наблюдал за ними с откровенной насмешкой.

— Я думаю, что Пойгина следует по-прежнему считать нашим другом, — льстиво сказал Эттыкай, кинув при этом настороженный взгляд в сторону черного шамана.

— Не торопись, Эттыкай, — посоветовал Рырка. — Пусть сначала Пойгин расскажет, как ему удалось добыть эти волосы.

— Да, да, пусть расскажет, — потребовал Вапыскат, уязвленный тем, что Пойгин, кажется, и вправду посрамил его.

— Сначала скажите, где Кайти.

— Ну что ты все — Кайти да Кайти! — с добродушной ворчливостью сказал Эттыкай. — Нельзя, чтобы мужчина терял рассудок из-за женщины, даже если это его жена.

— Тогда я вам ничего не скажу.

Вапыскат медленно завернул волосы в бумагу, спрятал пакетик в свой мешочек для табака и, окинув Пойгина сумрачным взглядом, сказал:

— Я поставил запасную яранг у в ущелье Вечно живущей совы. Оттуда мне лучше говорить с луной. Кайти в той яранге с моей старухой. Там я должен буду отрубить тебе средний палец левой руки и тем самым превратить тебя в черного шамана. Иначе мы не сможем верить тебе. Так решили все главные люди тундры.

Пойгин лихорадочно натянул на себя кухлянку и, вынырнув из полога, закричал:

— Мне нужна Кайти!

Долго молчали главные люди тундры после ухода Пойгина, сосредоточенно выкуривая трубки.

— По-моему, он не стал послушным нам человеком, — наконец изрек Рырка. — Надо показать ему два патрона.

— Почему два? — спросил Эттыкай, принимая от Рырки трубку.

— Скажем ему: один патрон своим выстрелом в Рыжебородого заставит сидеть спокойно пулю во втором патроне. Иначе пуля второго...

Рырка не договорил.

— Да, да, пуля второго патрона найдет Пойгина, — досказал за Рырку Эттыкай.

Вапыскат какое-то время сидел молча с крепко зажмуренными глазами. Наконец, раскрыв глаза, он сказал:

— Я согласен.

И опять скрипели полозья нарты Пойгина. Все круче становился подъем в гору. Мороз казался еще злее от того, что ярко светила луна. Да, Пойгин готов был поверить, что луна порождает мороз так же, как солнце порождает тепло. Не скоро он оказался на небольшом плоскогорье. Прямо перед ним зиял вход в ущелье Вечно живущей совы. Уступы гор, усыпанные зеленоватыми искрами отраженного лунного света, уходили в бесконечную высь. В самом центре ущелья стояла яранга. У входа в ярангу

торчал высокий шест, увенчанный мертвой головой оленя. К шесту была привязана черная собака; почувствовав приближение человека, она глухо зарычала, заиндевелая шерсть на ее спине вздыбилась.

Желтое око луны словно бы остановилось на небе, чтобы смотреть именно в это ущелье. Пойгин поднял на нее глаза и тут же опустил голову, произнося заклятье:

— Я взглянул на тебя, луна, не потому, что принял за солнце. Свет твой не может проникнуть в меня через мои глаза, потому что я весь заполнен солнцем, солнцем и только солнцем. Места во мне для тебя не было, нет и не будет.

Пойгин тронул упряжку. Залаяла черная собака. В ответ заливисто зашлись в лае собаки Пойгина. В яранге с тщательно укрытым входом не чувствовалось никаких признаков жизни. Пойгину подумалось, что Кайти здесь нет, что его обманули. Он осторожно обошел вокруг яранги, приостановился в том месте, где обычно крепится полог. Гулко стучало сердце, Пойгину вдруг показалось, что он улавливает в яранге какие-то звуки. Но тут же убедился, что, кроме ударов собственного сердца, не слышит ничего.

— Есть здесь кто?

Испугавшись собственного голоса, Пойгин разозлился. Одолевая страх, он попытался подступиться к входу в ярангу. Но черная собака рыча преградила ему путь.

Пойгин выхватил нож и перерезал ремень, привязанный к шесту, отпуская собаку на волю. Шест закачался. Тускло блеснули при лунном свете мертвые глаза оленьей головы. Собака отбежала в сторону, подняла голову и завыла.

Пойгин решительно рванул шкуру, вошел в ярангу. Полога здесь не было. На цепи над очагом висел небольшой котел. Кто-то под ним разжигал костер: в круге из камней виднелись потухшие головешки. Чуть в стороне от очага беспорядочной кучей громоздился хворост для костра.

— Где Кайти? — громко спросил Пойгин, словно надеялся, что некто невидимый ответит ему.

Расшвыряв в гневе хворост, Пойгин сорвал с цепи котел, бросил его об землю. И вдруг ему пришла мысль сжечь ярангу. Упав на колени, он выбрал сухие сучья, выхватил из чехла нож, настрогал стружек. Руки его тряслись от волнения, он долго не мог высечь кресалом огонь. Но вот наконец стружки вспыхнули. Костер быстро разрастался, освещая перекошенное яростью лицо Пойгина. Взвалив весь хворост на огонь, Пойгин выбежал из яранги, задыхаясь от дыма. Надавив плечом, сломал одну из перекладин каркаса яранги, затем вторую, третью. Языки пламени вырвались наружу, резкий запах горелых шкур забил дыхание. Громко лаяли собаки Пойгина. А черный пес подошел к шесту с мертвой оленьей головой и улегся на снег, положив морду на вытянутые лапы. Пойгин подбежал к шесту, ударил по нему ногой. Сломался шест, голова мертвого оленя полетела в огонь.

Все выше вырывалось пламя, освещая сумрачным светом ущелье. Пойгин поднял лицо к небу и не увидел луны.

— Ты все-таки скрылась! — воскликнул он. — Жаль, надо было бы тебе посмотреть на огонь моей ярости!..

Пойгин нашел Кайти в стойбище Вапыската. Когда он выехал из ущелья, ему подумалось, что Кайти действительно вместе с женой черного шамана побывала в яранге, которую он сжег. По каким-то причинам они покинули ущелье Вечно живущей совы: может, страшно им стало в одинокой яранге, может, Кайти убежала.

В ярангу Вапыската Пойгин ворвался уже под утро.

— Кто пришел? — послышался скрипучий голос старухи Омрыны.

— Где Кайти? — вместо ответа спросил Пойгин.

— Я здесь, здесь! — вдруг закричала Кайти.

Пойгин ввалился в полог.

— Ты хоть бы снег из кухлянки выбил, — проворчала Омрына, зажигая светильник.

Пойгин с трудом дождался, когда слабые язычки пламени наконец осветят полог. Кайти сидела в углу, прижав к груди шкуру, которой укрывалась. В немигающих, широко раскрытых глазах ее были слезы. Пойгин смотрел на нее и боялся, что долгожданная эта встреча лишь видится ему во сне.

— Ты что смотришь на нее, как будто не узнаешь? — спросила Омрына, подбирая костлявыми руками седые космы. — Сними поскорее кухлянку и выброс, пока с нее не потекло.

Пойгин сорвал с себя кухлянку и выбросил ее из полога. Омрына подвинулась, освобождая место возле Кайти. Пойгин бросился к Кайти, но унял порыв и осторожно приложил ладони к ее щекам.

— Я думал, больше не увижу тебя.

— Я тоже так думала, — тихо сказала Кайти и заплакала.

Омрына, широко зевнув, равнодушно сказала:

— Уже, кажется, утро. Пойду кипятить чай.

Пойгин благодарно глянул на старуху. Как только Омрына выбралась из полога, Кайти расплакалась еще сильнее.

— Меня увезли сюда насильно, — рассказывала она сквозь слезы. — Мы жили с Омрыной в ущелье... Там стоит яранга... а возле нее голова мертвого оленя... Вчера приехал брат Омрыны, увез нас из ущелья, потому что там нет ни еды, ни полога.

— Ну не плачь, не плачь, Кайти. Ты видишь, я вернулся. Я теперь все время буду с тобой. — Пойгин смотрел на Кайти и мучительно думал, куда же им теперь деваться? После того как он сжег ярангу черного шамана, трудно было рассчитывать, что главные люди тундры будут терпеть его здесь. — Надо нам с тобой куда-то бежать. Я сжег ярангу в ущелье Вечно живущей совы...

У Кайти расширились глаза от ужаса.

— Как сжег? Почему?

— От ярости. Да, да, это был огонь моей ярости! Я едва не лишился рассудка от мысли, что не найду тебя.

— Теперь они будут мстить тебе.

Пойгин как-то странно улыбнулся, окинул полог затравленным взглядом и сказал:

— Что ж, тогда вместе уйдем к верхним людям.

Глаза Кайти еще больше расширились от ужаса.

— Я не хочу. Мне страшно.

— Тогда я уйду один.

Кайти обхватила плечи Пойгина, прижалась головой к его груди:

— Я не пущу! Ты не уйдешь. Если уйдешь, то я и мгновения жить не буду.

За пологом послышались голоса мужчин.

— Кажется, Вапыскат! — едва слышно сказала Кайти.

Она не ошиблась, в полог ввалились Вапыскат, Эттыкай и Рырка.

— Нашел свою Кайти? — с дружеским, казалось, сочувствием спросил Эттыкай.

«Они еще не знают, что я сжег ярангу», — подумал Пойгин.

— Успел ли ты порадовать жену или тебе помешали? — осклабившись, спросил Рырка, разглядывая Кайти с откровенным вожделением.

Кайти, судорожно прикрывая грудь, втискивалась, насколько возможно, в угол полога.

— Мы поедем дальше, в стойбище Рырки. Я заберу с собой и старуху, оставайтесь вдвоем, если ты вслед за нами приедешь в стойбище Рырки, — покровительственно сказал Вапыскат.

«Да, конечно, они еще не знают, что я сжег ярангу», — окончательно убедился Пойгин, вслух сказал:

— Я приеду.

Попив чаю и насытившись оленьим мясом, главные люди тундры уехали в стойбище Рырки, прихватив с собой Омрыну. Наконец Пойгин и Кайти остались вдвоем. Они долго молча смотрели друг на друга, то улыбаясь, то уходя в тревожную задумчивость.

— Мне почему-то холодно, — зябко поеживаясь, сказала Кайти.

— Чувствуешь ли ты в себе новую жизнь? — спросил Пойгин, как бы сопоставляя то, что он видел в памяти, неотступно думая о Кайти, и то, что видел сейчас: да, она все такая же, нет, намного лучше, потому что пережитая им тоска позволяет по-новому видеть ее грудь, бедра, эти тяжелые черные косы, всегда такие чистые, мягкие глаза, из глубины которых никогда ложь не выглядывает, как мышь из норы.

Кайти осторожно притронулась к груди:

— Да, мне кажется, у нас будет сын.

Кайти быстро расстелила инаргит и улеглась, по-прежнему зябко поеживаясь. Чуть запавшие глаза ее были тревожны: она боялась, что счастье встречи с мужем вот-вот оборвется вмешательством какой-то злой силы. А Пойгин медлил, не в силах выйти из глубокой задумчивости. Как он ждал этого мгновенья! Бежал, будто дикий олень, через долины, горные перевалы, подгоняя упряжку. «Быстрее, быстрее! — кричал он собакам. — У вас пустая нарта, я берегу ваши силы. Быстрее!» Горячие ладони его, словно отдельные от него существа, ждали прикосновения к телу Кайти, мучительно ждали. И даже лютый мороз никак не мог их остудить.

Пойгин поднес ладони к глазам, потом вкрадчиво, как бы опасаясь, что Кайти вдруг исчезнет и вместо нее окажется лишь морозный воздух, приложил их к ее животу. Кайти вздрогнула и замерла, даже, кажется, перестала дышать.

— Я хочу почувствовать в тебе новую жизнь.

И не смогла Кайти дольше сдерживать дыхание. Оно было глубоким и прерывистым. А еще через мгновение, другое стало ей чудиться — что в груди у нее, в распахнутой ее душе, ворочается, пытаясь половчее улечься, мягкая, пушистая лисица. И хотелось Кайти плакать и смеяться от того, что такая ласковая пушистая лисица нашла удивительно светлое и уютное место где-то под самым ее сердцем. Ластилась лисица к ее сердцу, порой притрагивалась к нему острыми коготками. Ох, лисица,

лисица, и как ты сумела так уютно улечься под сердцем самой счастливой на свете женщины? И уже потом, когда лисица, как бы встряхнувшись, ушла, играя пушистым хвостом и сладко потягиваясь, Кайти сказала:

— Я готова, если надо уйти к верхним людям.

Приложила вздрагивающие пальцы к губам Пойгина и угадала, что он улыбается.

— Я не хочу к верхним людям,— ответил Пойгин. — Там я не буду чувствовать твое тело.

У яранги громко кричали и смеялись дети, переговаривались женщины, вытаскивая из своих очагов пологи, чтобы как следует выморозить вспотевший за ночь олений мех и выколотить иней тяжелыми тынгынами; потом, когда придет время для сна, пологи снова будут установлены в ярангах.

— Надо вытаскивать и наш полог,— сказала Кайти, вздохнув бесконечно тяжко.

— Наш полог,— с горечью передразнил жену Пойгин. — Нет у нас с тобой своего полога, скоро будем, как Гатле, в шатре мерзнуть.

Кайти поправила огонь в почти потухшем светильнике и принялась надевать керкер.

— Подожди,— попросил Пойгин, любуясь ее телом. — Подожди. Мне надо тебя запомнить.

Кайти вскинула на мужа испуганные глаза:

— Ты что, опять хочешь от меня уехать?

— Нет, нет. Я хочу запомнить тебя навсегда. Возможно, я когда-нибудь вернусь в этот мир из Долины предков камнем. Буду стоять вечно на высокой горе и разглядывать памятью, какая ты есть.

— Тогда я рядом с тобой тоже встану камнем.

Пойгин засмеялся.

— О, тогда кто-нибудь увидит, что камень сошел со своего места. Ты думаешь, я выдержу, если ты окажешься рядом?

12

Неумолимое время совершало свой бег, вращались звезды вокруг Элькэп-енэр, плыла по небу луна, упиваясь своей безраздельной властью, пока солнце гостило где-то в других мирах. Оставив Кайти в стойбище черного шамана, Пойгин, повинуясь ходу времени, ехал на встречу с главными людьми тундры, не зная, что будет с ним. В пологе яранги Рырки его уже ждали.

— Донесешь ли ты чашку с чаем до рта, не расплескав на шкуры? — добродушно щуря узенькие глазки, спросил Эттыкай. — Наверное, это нелегко сделать после долгожданной встречи с женой.

Пойгин скупо улыбнулся, не столько в ответ шутнику, сколько Кайти, которую он так отчетливо видел в памяти.

Пойгина поили чаем, кормили мясом, пока ни о чем не расспрашивая. Но вот Рырка вытер лоснящиеся от оленьего жира руки сухой травой, раскурил трубку, протянул ее Эттыкаю и сказал:

— Начнем наш самый важный разговор. Мы желаем, Пойгин, послушать твои вести с морского берега. Рассказывай все по порядку, постарайся ничего не забыть.

Вапыскат с вялым видом обгрызал ребрышко оленя, на Пойгина он, казалось, не обращал ни малейшего внимания.

Пойгин медленно допивал чашку чая, чувствуя, как тревожно колотится его сердце. «Невидимый свет Элькэп-енэр, проникни в меня, дай мне спокойствие. Я не знаю, что мне им говорить, как быть дальше».

— Ты что, опять будешь молчать? — показывая, как ему трудно испытывать свое терпение, спросил Эттыкай.

— Я не знаю, что вам говорить. Я пока не понял, что происходит в стойбище Рыжебородого. Безумных детей я там не видел...

Вапыскат швырнул обглоданную кость в продолговатое деревянное блюдо и вдруг беззвучно засмеялся.

— Теперь я понимаю, почему он так долго молчал, — промолвил черный шаман, резко прерывая смех. — Он уже, наверное, приглядел себе местечко в деревянном стойбище Рыжебородого. Будет дуть в железную трубу и реветь, как сто моржей, вместе взятых.

— Я дул в эту трубу,— неожиданно для самого себя признался Пойгин. — У меня она не ревела, а только шипела и хрипела.

— Ты дул в эту трубу?! — в величайшем изумлении спросил Эттыкай. — Что ты там делал еще?

— Слушал, как жена Рыжебородого учила детей понимать знаки немоговорящих вестей. Мое имя таит в себе шесть знаков. Я их почти запомнил, потом попытаюсь начертить на снегу.

— Как же ты выдрал волосы из бороды пришельца? — спросил Рырка, нетерпеливо набивая трубку табаком.

— Я не выдирал. Он сам отстриг клок бороды и завернул в бумагу.

— Сам?! — взревел Рырка, роняя трубку и просыпая на шкуры табак.

— Да, сам. Это вызов тебе, Вапыскат. Рыжебородый сказал, что не боится твоей порчи.

Вапыскат все это выслушал, крепко зажмурив глаза и до боли закусив мундштук трубки, так, что вздулись на его тонкокожем сморщенном лице желваки.

— Ну вот, кажется, и дождались желанных вестей,— наконец сказал он усталым, расслабленным голосом. И вдруг выкрикнул: — Предатель! Я знаю, ты уже успел своими солнечными заклятиями оградить Рыжебородого от моей порчи. Теперь я ничего не смогу с ним поделать.

— Зачем же хитрить, Вапыскат,— дерзко усмехаясь, сказал Пойгин. — Ты свое бессилие не объясняй тем, что я тебе противостою. Я не охранял Рыжебородого заклятиями. Он мне пока не друг и не враг...

— Не друг и не враг? — все больше свирепея, спросил Рырка. — Нет, мы тебе растолкуем, что он именно враг! Мы тебя еще заставим расправиться с ним, как с врагом.

— Заставить меня невозможно...

— Замолчи! — прервал Пойгина Вапыскат. — Мы не желаем больше выслушивать твои безумные слова. Я сейчас же поеду в ущелье Вечно живущей совы и сделаю заклинание перед луной у головы мертвого оленя, и пусть на тебя и на Рыжебородого найдет порча.

— Нет там теперь головы мертвого оленя,— сказал Пойгин, увлекаемый ветром своего дерзкого вызова. Да, он чувствовал, что находится не в ладу с благоразумием, но ничего поделать с собой не мог. — Я сжег ярангу. Твоя черная собака, настоящий хозяин которой Келе, видела, как бежала от моего огня луна!

Вапыскат закрыл лицо руками, тихо выборматывая невнятные слова. Вдруг оторвал ладони от лица, выкрикнул, указывая пальцем на Пойгина:

— Он безумный! Рыжебородый вселил в него безумие. Свяжите его. Я буду выгонять из него духа безумия.

На Пойгина всей своей тяжелой тушей навалился Рырка, за ним Эттыкай. Ему связали арканом руки, опутали ноги, а на лицо накинули шкуру черной собаки. Пойгин начал задыхаться, теряя сознание.

Пришел он в себя, когда его голову высунули из-под чоургына в шатер яранги. Глотнув свежего воздуха, он застонал, не в силах понять, что с ним происходит. Его опять вволокли в полог. Мигало, едва не угасая, пламя светильника, шевелились тени от голов главных людей тундры.

Вапыскат налаживал бубен, осторожно проводя ладонью по его коже, ощупывая ободок. Время от времени он вздрагивал, подергивая головой, выкрикивал бессвязные слова: начинались «невнятные шаманские говорения». То Рырка, то Эттыкай протягивали шаману трубки, и тот жадно затягивался: табачный дым помогал ему погрузиться в «иной мир».

Пойгин с проясненным сознанием молча наблюдал за тем, что происходит в пологе: он понимал, что аркан, которым его связали, не порвать, сейчас он мог противостоять черному шаману лишь заклинаниями. «Я лежу лицом вверх и смотрю сквозь полог, сквозь дыру в верхушке яранги, смотрю на тебя, Элькэп-енэр. Свет твой, имеющий силу ничем непоколебимого неподвижного стояния, входит в мое сердце, внушает спокойствие. Он очень чистый, твой свет. Он дарует силу неумирания. Я наполняюсь этим светом и прогоняю им духов страха. Устыдись, черный шаман, своего бессилия. Ты связал арканом мои руки и ноги, пусть я пока буду пребывать в таком состоянии. Но ты не связал своим мерзким арканом мое сердце. Я не боюсь тебя, черный шаман! Свет Элькэп-енэр поможет моему рассудку. Я лежу лицом вверх и смотрю на тебя, Элькэп-енэр. Я чувствую, что твой свет со мной, и мне совсем не страшно».

Вапыскат порой низко склонялся над лицом Пойгина, заглядывая в его неподвижные, совершенно спокойные глаза.

— Я знаю, ты сейчас мысленно произносишь свои солнечные заклинания, обращаешься к Элькэп-енэр. — Черный шаман ткнул пальцем в потолок полога. — И если ты не закроешь глаза, я опять накину на тебя шкуру черной собаки. Вот она, видишь?

— Я не закрою глаза.

Вапыскат накинул на Пойгина шкуру, навалился на него сам. Чувствуя, что задыхается, Пойгин собрал все силы, повернулся на бок. Вапыскат попытался повернуть его лицом вверх.

— Помогите мне! — крикнул он Рырке и Эттыкаю, хватаясь за сердце. — Я слишком накурился, у меня заходится сердце.

Рырка бросился было к Пойгину, однако Эттыкай жестом остановил его. И когда Вапыскат, закинув голову кверху, начал опять произносить «невнятные говорения», Эттыкай тихо сказал:

— Пойгин может умереть от удушья.

— Пусть умирает,— ответил Рырка.

— Все больше и больше приходит вестей, что русские убийство не прощают. Они могут год разыскивать убийцу, пять лет и все равно находят...

— Не слишком ли ты их боишься? — вдруг вскрикнул Вапыскат, прекращая свои «невнятные говорения». — Я еще не так глубоко по-

грузился в «иной мир», чтобы не слышать твои трусливые речи.

Эттыкай промолчал.

Вапыскат схватил бубен, ударил в него несколько раз, тихо запел: «о-го-го-го, о-о-о». Потом толкнул в плечо Пойгина, тот без сопротивления опять повернулся на спину, глядя на воображаемую Элькэп-енэр. Вапыскат почти накрыл лицо Пойгина бубном, дробно и гулко ударяя пластинкой китового уса. Затем вскинул бубен кверху, встал на колени и завыл поволчьи, порой прерывая завывания всхлипом и стоном. Бубен грохотал все неистовей, все чаще вырывались из тщедушной груди шамана возгласы, смысл которых было невозможно понять. Бросив бубен на шкуры, Вапыскат схватился за голову, начал качаться из стороны в сторону, стеная и ухая. Порой он вскидывал голову и принимался душить себя, закатывая глаза так, что исчезали зрачки, и было жутко смотреть в эти бельмастые, слепые глаза.

Рырка невольно ежился, подвигаясь к стенке полога. А Эттыкай, забыв о раскуренной трубке, смотрел на шамана в каменной неподвижности. Пронзительно взвизгнув, Вапыскат упал на спину, забился в припадке, изо рта его потекла пена.

Рырка чуть приподнял полог, крикнул женщинам в шатер:

— Подайте воды!

Приняв чайник с водой, Рырка набрал ее в рот, брызнул на шамана, тело которого корчилось в судорожных конвульсиях. Вода должна была помочь душе шамана не покинуть тело своего носителя. Если этого не сделать вовремя, душа может совсем покинуть тело, и тогда придет смерть. Вапыскат понемногу успокаивался, зрачки его глаз вернулись в нормальное положение.

— Где я? — тихо простонал он, когда Рырка еще раз брызнул на него водой.

— Ты опять пребываешь здесь, в земном мире, — тихо сказал Рырка.

— Я был сейчас под самой луной, ловил человека, которого она утащила к себе, вселив в него безумие. Не можете ли вы напомнить мне его имя? Я что-то забыл.

— Его имя Пойгин, вот он, с тобой рядом, — сказал Эттыкай, торопливо разжимая потухшую трубку. — На, затянись, это поможет тебе обрести память.

Вапыскат несколько раз затянулся, судорожно сунул трубку в руки Эттыкая, наклонился над Пойгином.

— Да, это он, я его сейчас видел под самой луной...

— Я не был под луной. Я все время нахожусь под солнцем, — глухим, но внятным голосом сказал Пойгин.

— Нет, ты был под луной! — визгливо воскликнул шаман, яростно раздирая свои болячки.

— Я всегда под солнцем, — упрямо повторил Пойгин, отрешенно глядя в потолок полога.

— Он опять бросает мне вызов, — почти плачущим голосом промолвил Вапыскат, страдая от боли растравленных болячек. — Закрой глаза, иначе я опять буду душить тебя шкурой черной собаки!

— Я не закрываю глаза на солнце даже тогда, когда ты душишь меня шкурой черной собаки.

Застонав, Вапыскат опять схватил шкуру, накинул на лицо Пойгина, навалился на него всем телом. Связанные ноги Пойгина метнулись в одну сторону, в другую, наконец ему удалось повернуться лицом вниз. Поднявшись на колени, он вдруг засмеялся, страшный в своей яростной непокорности.

— Повалите его! — закричал Вапыскат. — Повалите! Иначе он порвет аркан и передушит нас.

Рырка схватил Пойгина за плечи, с трудом повалил его на спину. Вапыскат еще раз накинул на него шкуру и так усердно принялся душить, что Эттыкай снова забеспокоился:

— Он задушит его, и за нами придут русские.

— Будем в них стрелять, — сказал Рырка, наблюдая, как затихает тело Пойгина.

Эттыкай все-таки вцепился в шамана, высвобождая Пойгина.

— Открой полог, дай воздуху, — приказал он Рырке, бросился к чоургыну сам, приподняв его.

...Медленно возвращалось сознание к Пойгину. Долго он не мог понять, где он и что с ним происходит. Наконец грохот бубна вернул ему память. «Они задушат меня, — подумал Пойгин, наблюдая в полумраке мигающего светильника за черным шаманом. — Что же будет с Кайти, когда она узнает, что меня задушили?»

Пойгину виделись глаза Кайти. Все шире и шире раскрывались они, полные ужаса и скорби. Вот они уже заполняют собой все, и Пойгин как бы уплывает в их глубину... Сознание опять покидало его. Очнулся он от чьих-то грубых толчков.

— Скажи, что ты отныне считаешь своим солнцем луну. Всего одно слово ждем от тебя, скажи: лу-на.

Пойгин никак не мог угадать, кому принадлежит голос: не то женский, не то мужской

С трудом узнал склоненное над собой лицо Эттыкая. «Да, да, это у него такой тоненький голос», — подумал Пойгин, мучаясь от грохота бубна. Закрыть бы уши руками, да аркан впился в тело, даже не шевельнуть рукой. От грохота бубна разламывался череп. Пойгину казалось, что он слушает этот грохот уже целую вечность. Если б утих бубен хоть на мгновение, наверное, взошло бы такое яркое солнце, что лучи его пробили бы даже шкуры яранги. Мигало пламя тусклого светильника, метались по стенам полога тени от бубна и головы шамана, от его рук.

Над Пойгином опять склонилось лицо Эттыкая.

— Скажи одно слово: лу-на. Скажи, и я выведу шамана из иного мира.

— Солнце, — скорее по губам Пойгина угадал Эттыкай, чем расслышал его голос. — И только солнце...

— Безумец, шаман тебя задушит!

— Солнце! — уже клекотом из хрипящей груди вырвалось у Пойгина.

— Пусть задушит, — сказал Рырка, глядя с бессильной ненавистью на непокорного Пойгина.

— Я не хочу, чтобы русские шли по моему следу в горах, как за волком.

— Никто не узнает.

— Рыжебородый мог запомнить Пойгина лучше, чем ты своего брата. Не думай, что русские глупее тебя.

— Что им тут надо?! — рассвирепел Рырка. — Почему они лезут в нашу жизнь? Это моя земля, кого хочу — заморю голодом, кого хочу — накормлю, пусть только тот, кто хочет есть, как следует пасет моих оленей.

Приподняв чоургын, Эттыкай высунул голову в шатер яранги, потащил за собой Рырку, чтобы Пойгин не слышал, о чем идет речь, благо, к тому же грохот бубна заглушал голоса.

— Если Пойгин и должен умереть, то не в твоем очаге. Забыл, что мы говорили о двух патронах?

— Может, ты и прав, — скрепя сердце согласился Рырка.

— Давай же сделаем вид, что мы его спасли от шамана...

— Но Вапыскат может нам отомстить!

— Для нас русские пострашнее...

— Пусть бы нашел на них самый страшный мор, — задыхался от ярости Рырка. — Ладно, сделаем так, как ты говоришь. Не знаю только, чего в тебе больше — ума или трусости...

— Ума, ума больше. — Эттыкай постучал кулаком себя по лбу.

А Вапыскат колотил в бубен, выводя хриплым голосом: «о-о-го-го-о-о-го-го-го». Пойгин смотрел неподвижным взглядом в потолок, и Эттыкаю на мгновение показалось, что он умер. Склонившись над лицом Пойгина, он выкрикнул, стараясь перекричать грохот бубна:

— Ты живой?

Пойгин не понял вопроса и, как во сне, едва слышно ответил:

— Солнце...

Эттыкай выпрямился и с невольным уважением сказал Рырке:

— Вот какие мужчины есть у нас. Было бы все-таки самым мудрым сделать его нашим другом.

— Хватит, ты уже пытался сделать его другом, а что из этого вышло?

Раздраженный несговорчивостью Рырки, Эттыкай поморщился, набрал из рожка чайника полный рот воды, брызнул на шамана. Вапыскат выронил бубен, потряс головой, затих, безвольно опустив руки на голые костлявые колени.

— Полежи вот здесь, — попросил его Эттыкай. — Приди в себя, иначе душа твоя может навсегда уйти из тела.

Вапыскат застонал, послушно укладываясь на шкуры. Эттыкай, поправив огонь в светильнике, принялся развязывать аркан на Пойгине. Шаман это почувствовал, приподнял голову, тут же обессиленно уронил ее.

— Зачем вы его развязываете? — опять застонав, спросил он и приложил руки ко лбу. — У меня сильно болит голова...

— Пройдет, — сказал Рырка.

— Не развязывайте Пойгина. Я отдохну и начну все сначала.

— Он смирился, — стараясь, чтобы не расслышал Пойгин, тихо произнес Эттыкай.

— Смирился?! — Вапыскат нашел в себе силы подняться со шкур с видом победителя.

— Я не смирился, — довольно внятно промолвил Пойгин. — Я повторяю: солнце... сильнее луны...

Вапыскат устремился к бубну, но Эттыкай его остановил.

— Отдохни. Твоя жизнь нам дороже всего. Душа твоя уже почти уходила из тела. Лежи спокойно. Сейчас мы напоим тебя чаем.

Рырка безучастно курил трубку, уставившись неподвижным взглядом на огонь светильника.

Эттыкай снова принялся лихорадочно развязывать аркан, которым был опутан Пойгин.

— Больно? — участливо осведомился он. — Потерпи. Я думаю, что нам удалось спасти вас обоих. Вапыскат едва не расстался с душой,

да и ты мог окончательно задохнуться. Забудем этот страшный день и сделаем все возможное, чтобы он никогда не повторился.

— Ох, и хитрая лиса,— мрачно промолвил Рырка, наблюдая за суетливыми движениями Эттыкая, распутывавшего аркан.

Пойгин обессиленно шевельнул освобожденными руками и снова замер...

В тот же день Эттыкай перевез Пойгина в свое стойбище, велел Кайти поставить полог. Перепуганная Кайти упала на колени перед нартой, на которой лежал Пойгин, громко заплакала.

— Ты что оплакиваешь его, как покойника? — сердито спросил Эттыкай. — Жив он, жив. Духи безумия душили его, но Вапыскат выгнал их. Я и Рырка помогали шаману...

В пологе Пойгин долго смотрел неподвижными глазами на плачущую Кайти, наконец едва слышно спросил:

— Это ты, Кайти?

— Да, это я, я! Вот моя рука. Возьми мою руку! Чувствуешь?

— Они хотели, чтобы я покорился луне... Я не покорился. Я не предал солнце...

Пойгин закашлялся, хватаясь за грудь, в приступе удушья.

Несколько дней не мог подняться Пойгин на ноги. Кайти ухаживала за ним. Часто в полог наведывался Эттыкай, необычайно участливый, добрый. Велел убить для Пойгина молодого оленя, заговаривал с больным, как с самым близким другом. Заглядывал и Гатле, когда в пологе Эттыкая наступал сон.

— Я весть услышал,— тихо сказал он однажды, разглядывая Пойгина преданными глазами. — Рыжебородый устраивает в долине Золотого камня праздник...

Пойгин впервые за эти дни заметно оживился. Приподняв голову, он спросил:

— Кто сказал?

— Приезжал Выльпа из стойбища Рырки. Сказал, что поедет на праздник, а потом на берег в стойбище Рыжебородого. Там его дочь...

— Да, я знаю. Я видел Рагтыну. Что-то она часто снится мне...

Кайти настороженно вскинула руку, умоляя говорить потише, чтобы не услышали хозяева яранги.

На следующий день весть о празднике в долине Золотого камня передал Пойгину и сам Эттыкай.

— Как думаешь, следует ли нам ехать на этот праздник? — спросил он заискивающим тоном, всеми силами стараясь показать, что чрезвычайно нуждается в совете Пойгина.

— Не знаю,— отчужденно ответил тот.

— А ты поедешь?

— На чем?

— Я дам тебе лучших оленей, и ты победишь в гонке. Тебе достанется главный инэпирин [1].

Глаза у Пойгина невольно засветились жаждой поединка.

— Хорошо бы, конечно,— мечтательно сказал он. — Только я очень слаб...

— Мы будем все эти дни до отъезда хорошо тебя кормить. Может, я сам поеду в долину Золотого камня. Надо же и мне самому посмотреть на Рыжебородого.

13

На праздник Настоящего человека, как его назвал Рыжебородый, приехали все главные люди тундры. Они долго, в строжайшем секрете от Пойгина и от всех других пастухов, советовались, как им вести себя на этом празднике. И только перед самым отъездом пригласили Пойгина в полог Эттыкая.

— Могу ли я надеяться, что ты не скажешь о нас ничего плохого Рыжебородому? — спросил Эттыкай.

— Если Вапыскат сожжет шкуру черной собаки — не скажу.

Черный шаман было взвился, но Эттыкай остановил его:

— Подожди, Вапыскат. Да, мы сожжем шкуру и станем верными друзьями.

— Другом черному шаману не стану,— возразил Пойгин. — Пусть уж тогда лучше будет цела его шкура, пусть он нюхает ее и днем и ночью.

Вапыскат застонал от унижения, отвернулся в сторону.

— Смотри, Пойгин, как бы снова не пришлось нюхать эту шкуру тебе,— пригрозил Рырка.

— Ну вот, сейчас опять разругаемся! — сокрушался Эттыкай. — Надо ли давать волю ветру вражды, если мы собираемся все вместе посмотреть на пришельцев?

В долину Золотого камня выехали на оленях. Через два перегона оказались на месте. Здесь уже было много гостей. Стояло несколько палаток, яранг, паслось десятка три оленей, предназначенных на убой для угощения гостей. Оленей закупила культбаза в стойбищах, кочевавших вблизи долины Золотого камня.

Пойгин издали, стараясь быть незамеченным, наблюдал за Рыжебородым. Вспоминалось, как они совсем еще недавно жгли здесь костер. Огонь того костра, казалось, растопил

[1] Инэпирин — приз.

в душе Пойгина лед недоверия к этому человеку. Вернее всего было бы подойти к нему и сказать, что он рад его видеть. Правда ли рад? Ведь Пойгин сказал главным людям тундры, что пока не знает, кто ему этот пришелец: друг или враг. Но что еще мешает Пойгину подойти к Рыжебородому? Не хочет ли он показать главным людям тундры, что он не ищет у Рыжебородого защиты от них? Это верно — гордость есть гордость, и Пойгин не из тех, кто легко поступается ею. К тому же после недавней борьбы за жизнь, когда его едва не задушили, он чувствовал такой упадок сил, что ему все было безразлично.

Полыхал костер из амольгина[1], которым был завален берег реки. Да, здесь можно разжечь жаркие костры. Один из горных выступов глубоко вдавался в долину, самый конец его увенчивался высоким каменным столбом золотистого цвета. Пойгин долго смотрел на столб. Наверное, еще с первых дней творения этот одинокий молчаливый великан оглядывает долину, запоминая, что здесь происходит, — хорошо бы подойти к нему, всмотреться в его лик, пожалуй, туда не очень трудно добраться.

На долину наплывала густая синева после быстротечной встречи утренней зари с вечерней. Молчаливый великан, прозванный Золотым камнем, словно бы плыл в этой синеве. Полыхали костры, возле которых женщины разделывали убитых оленей. Надо было взять с собой Кайти...

Рыжебородый возился у высокого шеста, кажется, прикреплял к веревке кусок красной материи, которая, по его словам, имеет суть солнечного начала. Может, он говорил правду? Тогда надо бы подойти к нему и сказать: «Разреши мне потянуть веревку, чтобы от моих рук красная материя начала солнечное восхождение». Наверное, он разрешил бы это сделать. Пойгин перевел взгляд на молчаливого великана, имя которого Золотой камень. Смотрит молчаливый великан на то, что происходит в долине, и все запоминает...

Над самой большой палаткой трепетал на ветру кусок красной материи; Рыжебородый часто входил в эту палатку, снова выходил. Гости чувствовали себя все смелее, толпились у костров, громко переговаривались, весело смеялись. Рырка заметил у одного из костров своего бывшего пастуха Выльпу, сказал Пойгину тоном повеления:

— Позови этого лодыря ко мне.

Пойгин бросил на Рырку сумрачный взгляд:

— Зови, если тебе он нужен.

— Опять хотите поругаться, — досадливо упрекнул Эттыкай. — Я сам его позову, только не перегрызитесь, как собаки.

Но Эттыкай не успел сделать и шагу: из палатки с трубой в руках вышел Рыжебородый. Приложив конец трубы ко рту, он заревел протяжно и призывно. Вапыскат, оттолкнув Рырку и Эттыкая, казалось, готов был ринуться на Рыжебородого, но все-таки сдержал себя, предпочтя разглядывать пришельца издали.

Рыжебородый наконец перестал трубить, подошел к шесту, громко сказал:

— Прошу моих помощников подойти ко мне.

Из самой большой палатки вышло несколько русских и чукчей с карабинами в руках, выстроились у шеста в ровную линию, подняли карабины кверху. Рыжебородый потянул веревку, прикрепленную к самой верхушке шеста, и кусок красной материи начал медленно подниматься. Как только он достиг вершины шеста, Рыжебородый взмахнул рукой, что-то выкрикнул, и его помощники все разом выстрелили в небо.

— Ка кумэй! — пронеслись возгласы изумления над толпами гостей.

— А в нас они стрелять не станут? — приходя все больше в возбуждение, спросил Вапыскат, обращаясь к Пойгину.

— Откуда я знаю, — ответил тот безучастно.

— Ты жег с ним костер, пил чай, отстриг клок его бороды...

— Он сам отстриг клок бороды — как раз для тебя. Можешь подойти и спросить. Он не пожалеет, еще отстрижет.

Рыжебородый между тем снова огласил долину Золотого камня протяжным голосом солнечно сверкающей трубы и громко возвестил:

— Слушайте, слушайте добрые вести! Мы начинаем праздник Настоящего человека. Вы только что видели восхождение красного флага. Я знаю, как вы встречаете восход солнца. Тогда чаще всего звучит ваше замечательное слово: «ынанкен! ынанкен!» — «что за диво!» Мне известно, с каким нетерпением вы ждете после долгой ночи наступления дня. День, говорят в вашем народе, — это надежда на благосклонность судьбы. И первый восход солнца не зря у вас именуется Днем благосклонности. Но судьба тогда благосклонна к человеку, когда он берет ее в свои руки. И вот восхождение красного флага на празднике Настоящего человека означает, что отныне вы берете судьбу в собственные руки.

— Куда ведет тропа его мысли? — как бы у самого себя спросил Эттыкай, примечая, с ка-

---

[1] Амольгин — сухие сучья, выброшенные течением реки на берег.

ким напряженным вниманием все гости слушают русского.

— Торговал ли кто-нибудь из вас хоть в одной из наших факторий? Был ли такой случай, чтобы вы почувствовали обман и вымогательство?

И ответили гости:

— Нет обмана.

— Нет.

— Капканы на людей, кажется, там не ставят.

— Значит, не с жадностью, не с алчностью пришли новые торговые люди, а с добром и щедростью. Верно ли я говорю?

— Верно.

— Щедры новые торговые люди, щедры и честны. Только знать хотелось бы... долго ли именно так будет? — спросил старик Тотто.

— Так будет отныне и навечно, — торжественно сказал Рыжебородый.

— Чем поклянешься?

— Вот этим флагом и солнцем. Наступает новая жизнь, имя которой — Советская власть.

— Что это — ваш благосклонный ваиргин?

— Это прежде всего справедливый закон.

— Что такое закон?

— Это запрет на несправедливость и полная воля добру. Я знаю, здесь есть безоленные люди. Справедливо ли то, что они безоленные? Не они ли день и ночь пасут оленей, принадлежащих тем, кого вы называете главными людьми тундры? Но главные люди тундры — это те из вас, кто день и ночь пасет оленей. Вас много, настоящих людей. В вашу честь и произошло сегодня восхождение красного флага. Не вы ли во время отела готовы собственным дыханием отогреть каждого олененка? Не вы ли спасаете оленей и от волка, и от гибельного гололеда? Однако вас самих до сих пор никто не спасал от гололеда несправедливости. Новая жизнь сделает это! Подумайте сами, разве мои слова не имеют силу славных вестей?

Гости зашумели, изумленные говорениями русского. Да, кажется, это были не простые слова, а именно говорения, непривычные и неслыханные доселе. Вапыскат сказал Эттыкаю, желчно усмехаясь:

— Ну, теперь ясно тебе, куда ведет тропа его мысли?

А Пойгин, чувствуя, что ему становится весело, произнес восхищенно одно-единственное слово:

— Пычветгавык [1].

— Кто, Рыжебородый? — остро нащурившись на Пойгина, спросил Эттыкай.

— Именно он.

— Может, может, ты и прав, — очень нехотя, с тяжким вздохом согласился Эттыкай.

Вапыскат с возмущением посмотрел на Пойгина, потом на Эттыкая, ступил шаг, другой с таким воинственным видом, словно собирался броситься на Рыжебородого, но тут же вернулся обратно.

— Я вот встану рядом с ним и скажу свои слова. И люди увидят, кто из нас пычветгавык.

— Кита-кун! [1] — воскликнул вызывающе Пойгин.

И, словно угадав мысли черного шамана, Рыжебородый сказал:

— Пусть тот, кому кажется, что в моих словах нет правды, открыто и прямо мне возразит.

Пойгин с откровенно насмешливым видом повернулся к черному шаману.

— Он, кажется, угадал твои мысли. Иди, иди к нему, иди, возрази. Кита-кун!

— Мы еще заставим тебя самого возразить ему. Ты еще не знаешь, что таят для тебя два патрона, — сказал Рырка и сделал такое движение, будто заряжал винчестер.

— Ну, ну, догадываюсь, один из патронов таит смерть для меня, — очень спокойно, будто вел речь не о себе, ответил Пойгин.

— Да, именно так! Если пуля первого патрона не найдет Рыжебородого, то пуля второго...

Эттыкай дернул Рырку за рукав — дескать, нашел время для подобных разговоров. Тот хотел сказать Эттыкаю что-то резкое, но лишь свирепо прокашлялся.

— Ну, есть такой гость, который хотел бы со мной поспорить? — Рыжебородый еще немного подождал. — Значит, нет. Но вполне вероятно, что кое-кому и хотелось бы со мной поспорить. Что ж, не будем торопиться. Возможный наш спор доведет до конца сама жизнь. Бывает и так, что к справедливости приходит даже тот, кому она поначалу кажется страшной. Такому человеку мы всегда ответим благосклонностью и уважением.

— Пычветгавык, — опять повторил Пойгин и, даже не глянув на главных людей тундры, пошел с независимым видом к одному из костров, возле которого увидел Выльпу.

А Рыжебородый вошел в толпу гостей и, взяв под руку старика Тотто, повел его к самому большому костру.

— Этот старый почтенный анкалин был недавно спасен от голодной смерти. Я постелю у костра шкуру белого оленя, усажу Тотто, как самого почетного гостя, и пусть он расскажет, кто его спас.

---

[1] Пычветгавык — красноречиво говорит, проникновенно, задушевно.

[1] Кита-кун! — Давай-ка!

Рыжебородый принял от своих помощников белую шкуру, постелил у костра.

— Садись, дорогой гость культбазы. Женщины, налейте ему чаю.

Высокий старик, глаза которого казались пустыми глазницами, настолько глубоко провалились они, уселся на шкуру.

— Вот кого при новых порядках усаживают на шкуру белого оленя,— угрюмо сказал Рырка. — Он еще и Выльпу рядом с ним посадит, забыв, что у него всего четыре оленя...

— Нет, он это знает и помнит,— возразил Эттыкай. — Именно потому и воздает почет.

Рырка в крайнем недоумении пожал плечами.

— Я вижу, у этого русского все наоборот. Такого не было еще со дня творения. Не пойму, глупость это или...

— Нет, не глупость,— не дал досказать Эттыкай. — Это умысел...

— В чем его смысл?

— Отнять силу у нас с тобой...

И опять Рырка свирепо прокашлялся.

Старик Тотто, выпив чашку чая, начал говорения об отогнанной голодной смерти.

— Я ощупывал тех, кто был слева от меня в пологе... они были уже как холодные камни. Я ощупывал тех, кто был справа... они были тоже словно камни или как льдины... Если бы мог постучать по голове сына или невестки, по головам двух внуков... наверное, они зазвенели бы и раскололись, как лед. Я доедал подошву торбазика младшего внука... Снял торбазик, когда внук уже умер. Я жевал подошву торбазика и слушал, что делалось в стойбище. Я ждал, что заскрипит снег под ногами человека, залает собака... Но тихо было кругом, даже ветер и тот не шумел над яранго́й, думаю, не умер ли ветер? Может, все, все умерло в этом мире и я остался один...

Старик надолго умолк, глядя в костер тусклыми глазами, и только потом, когда ему дали чашку чая и он выпил ее, снова заговорил, покачиваясь:

— Когда я съел и вторую подошву и больше нечего было сунуть в рот... мне стали являться видения голода. Мне представлялось, что я вышел из яранги и увидел лежащего умку. Вот он, рядом совсем, и кажется, еще кровь течет из его раны. Горячая кровь. Хотя бы глоток его крови, хоть бы кончик его уха, и тогда... тогда костер жизненной силы опять загорелся бы во мне...

Старик, кашляя и задыхаясь, стал терзать грудь. Ему дали в чашке мясного бульона, он отхлебнул глоток, засмеялся от счастья, и слезы потекли из его провалившихся глаз. Пойгин смотрел на старика с состраданием и вспоминал, как мучал голод не один раз и его.

— Я подполз к умке, хотел впиться зубами в ухо... и вдруг почувствовал... О, горе, горе, вдруг почувствовал, что это всего лишь глыба льда. Я грыз лед. Я ломал последние зубы. Я ждал, что хоть маленькую каплю жизненной силы даст мне холодный лед. Но он сам был мертвый, такой же мертвый, как те, кто был справа от меня и слева, как сын мой, невестка и два внука... Жена моя давно умерла, и тоже от голода. Потом мне примерещился заяц. Он прыгал вокруг меня, бил меня лапами по вспухшему животу, грыз мои ноги. А я ловил, ловил зайца и никак не мог поймать. Я умолял его позволить хотя бы понюхать его уши. У него были такие длинные, вкусные уши... Одно ухо... да что там... пол-уха, даже если бы я просто укусил хоть раз его ухо... это спасло бы мою жизнь. Но заяц увертывался и хохотал по-человечески, издевался надо мной. Он ходил на задних лапах, бил себя передними лапами по животу и все хвастался, какой он сытый, потому что сожрал жизненную силу моего сына, невестки и двух внуков и теперь добрался и до меня. И тогда я понял, что это вовсе не заяц, а голодная смерть. И я не ошибся. Заяц вдруг стал расти... Он поднимался все выше и выше. И я увидел его там, в той стороне, где я поднял, когда был еще в силе, на столбы остов моей байдары. Это был уже не заяц. Там... стояло видение голодной смерти. Оно было все из костей. Череп с пустыми глазницами поднялся до самого неба, так что луна вползала в одну глазницу, а потом выползала из другой... Видение нагибалось, поднимало костлявыми руками куски льда и протягивало мне, чтобы я грыз этот лед. Я грыз лед и чувствовал, как ноги мои и руки становятся льдом. Я понимал, что последние капли жизненной силы покидают меня, что я обожрался льда и сам становлюсь льдом...

Но вот во рту старика вместо льда оказалась спасительная пища. Откуда? Кто дал? Может, и это примерещилось в бреду? Но нет, во рту не лед, а бульон, теплый бульон, пахнущий мясом. Кто дал? Откуда явились спасители? Ынанкен! Что за диво! Такого не было со дня первого творения. Приехали издалека люди, посланные райсоветом спасать умирающих. Райсовет! Что это? Откуда явился этот непонятный варгин, благосклонный к тем, кто был уже обречен?

Жадно слушают старика гости и начинают догадываться, почему русский постелил ему шкуру белого оленя. Мудрый, видать, этот русский, он посадил на белую шкуру того, кто обликом еще был как сама смерть, а ду-

шою, разумом — жизнь, жизнь, спасенная жизнь!

— Надо бы выдернуть белую шкуру из-под полумертвого старика, — сказал Рырка, отворачиваясь от костра. — И где разыскал его этот хитрый Рыжебородый?..

— Умный Рыжебородый, — невольно возразил Эттыкай. Почувствовал, какими глазами посмотрели на него Рырка и Вапыскат, добавил: — Кто не способен оценить ум другого, тот сам не имеет рассудка...

— Вот как ты заговорил, — со злой горечью сказал Рырка. — В одной ли упряжке мы бежим?

Эттыкай промолчал.

— Спасибо, Тотто, за твои говорения. — Рыжебородый низко поклонился умолкнувшему старику. — А сейчас я объявляю начало оленьих гонок. Запрягайте, дорогие гости, своих быстроногих оленей, и пусть вам будет удача!

Гости зашумели, возбужденно переговариваясь, заторопились к оленям. Пойгин улыбнулся Выльпе и шутливо сказал:

— Ну, а что же ты, главный человек тундры, не спешишь к своим оленям?

Выльпа скупо улыбнулся в ответ. Это был уже немолодой мужчина с длинным сумрачным лицом, с затравленными, звероватыми глазами. Выльпу преследовали вечный голод, унижения и несчастья: сначала умерла его жена, потом два сына, а дочь родилась с больным сердцем.

— Какие там олени, — простуженно прохрипел он. — Мыши в моем очаге водятся, это верно. Я приехал сюда на собаках. Весть тревожную передали мне... Русские шаманы хотят резать мою дочь...

— Как резать?! — потрясенно спросил Пойгин.

— Грудь хотят разрезать, до сердца добраться, чтобы выгнать немочь. Но разве выживет Рагтына, если ей разрежут грудь?

Пойгин поискал взглядом Рыжебородого. Тот стоял возле главной палатки.

— Иди со мной. Спросим у русского...

Медведев вошел в палатку, присел на фанерный ящик, покрытый шкурой оленя. Что ж, праздник начался как надо, главное, кажется, найден верный подход к чукчам. Жаль, что до сих пор не приехали нарты с товарами фактории. Заведующий культбазовским магазином заболел, а Чугунов так и не появляется. Конечно, ехать за двести с лишним километров не просто, но если дал слово — сдержи. А какой праздник без торговли. Хотел приехать и главный врач культбазы, но его слишком тревожит больная девочка Рагтына. Не дает покоя тревога и Медведеву. Он даже подумал, не перенести ли праздник. Но люди обширного района тундры и побережья были уже оповещены, и менять сроки — значило бы сорвать праздник.

В палатку вошли Пойгин и Выльпа.

— О, вы пришли! — приветствовал гостей Медведев и задержал взгляд на Пойгине. — Ты, кажется, чем-то встревожен? Почему не подошел ко мне сразу же, почему прятался от моего взгляда?

— Верно ли, что Рагтыну будут резать русские шаманы? — спросил Пойгин и показал на Выльпу. — Это ее отец. Он хочет знать правду.

Медведев поправил оленьи шкуры, устилавшие палатку.

— Садитесь. Согреемся чаем. Я рад, что ты все-таки приехал. Не забыл, как мы выбирали место для праздника?

— Ты не ответил на мой вопрос. Верно ли, что Рагтыну будут резать?

— Весть лживая, — ответил Артем Петрович, выдерживая взгляд Пойгина. — Я клянусь тебе в этом. Врачи пытаются изгнать немочь из сердца Рагтыны другим способом.

— Каким? — спросил Пойгин, присаживаясь на шкуры. Кивнул Выльпе, приглашая сесть рядом. Раскурив трубку, повторил вопрос: — Каким?

— Ты лечишь людей травами?

— Да, я знаю травы. Изгоняют боль из головы, из живота, изгоняют кашель...

— Вот и наши врачи знают такие травы.

— Поможет ли это моей дочери? — спросил Выльпа. — Если умрет... у меня больше никого не останется.

Хриплый голос Выльпы как-то натужно вырывался из его простуженного горла, бесцветные губы дрожали от напряжения.

Медведев поставил на фанерную дощечку чашки, открыл термос.

— Вот видите, какое вместилище для горячего чая придумали умные люди. Налил я его еще дома, а до сих пор не остыл...

Пойгин проследил, как Рыжебородый наполнил чашки горячим чаем, с невольным любопытством потянулся к термосу, покрутил его в руках, заглянул в горлышко, бережно передал хозяину и снова заговорил о своем:

— Выльпа хочет ехать к дочери. Пустят ли его к ней твои шаманы?

И опять задумался Артем Петрович. Как ответить на этот вопрос? Врачи действительно могут и не пустить отца к больной. А может, наоборот, ему надо спешить, чтобы увидеть ее в последний раз.

— Не поехать ли нам после праздника вместе? — осторожно спросил Медведев.

Пойгин и Выльпа переглянулись, как бы спрашивая друг друга, что ответить Рыжебородому.

— Если резать дочь твои шаманы не будут... поедем вместе, — страдальчески поморщившись, наконец ответил Выльпа.

— Не будут! — клятвенно ответил Артем Петрович.

— Тогда и я с вами поеду, — с глубоким вздохом облегчения сказал Пойгин.

За палаткой слышалось многоголосье гостей. Перекликались женщины, суетившиеся у котлов над кострами, шутили, пересмеивались мужчины, готовясь к состязаниям в оленьих гонках.

— Будете ли вы участвовать в гонках? — спросил Медведев, озабоченно поглядывая на ручные часы.

— Выльпа приехал на собаках. У него нет своих оленей. У меня тоже нет. На чужих не поеду, — угрюмо нахохлившись, ответил Пойгин.

— Ты почему так изменился? Болел, что ли? — спросил Артем Петрович участливо, разглядывая лицо Пойгина.

— Болел, — скупо ответил Пойгин. — Так что ни бегать, ни прыгать, ни бороться я сегодня не буду.

— Меня это очень печалит. Я привез твой карабин, подаренный тебе на культбазе при восхождении красного флага. Могу отдать сейчас...

— Карабин не возьму...

В палатку ввалился в заиндевелых меховых одеждах Чугунов, и сразу стало тесно от его огромной фигуры.

— Докладываю, товарищ начальник культбазы: развозторг фактории стойбища Лисий Хвост прибыл, хотя, понимаешь ли, с некоторым вынужденным опозданием...

Русские крепко обнялись, похлопывая друг друга по спинам.

— Знал бы ты, как меня обрадовал, дорогой Степан Степанович. Попей чаю, подкрепись и разворачивай ярмарку. Какой праздник без ярмарки?..

— Постараюсь. От товаров нарты трещат. Потому и запоздали. Упряжки и каюры выбились из сил.

Чувствуя на себе напряженный взгляд Пойгина, Чугунов наклонился, разглядывая его лицо, обрамленное густой опушкой малахая.

— О! Кого я вижу! Это же ты, ты, дорогой мой человек! — повернулся к Медведеву. — Это же Пойгин!

— Да, это он.

— Эх, как я призадумался, когда изгнали тебя из стойбища. Главное, кажется, я, я виноват! Переведи ему, Артем Петрович...

Пойгин выслушал Медведева с бесстрастным видом, порой кидая непроницаемый взгляд на Чугунова.

— Ты зря так испугался этого моего дурацкого чертика. — Степан Степанович с виноватой улыбкой сорвал с себя малахай, швырнул в угол палатки, запустил пятерню в слежавшиеся волосы. — Это же были просто железки, банка консервная...

Медведев знал уже, как провалился Чугунов со своими фокусами: тот покаялся ему во всем в первый же приезд на культбазу.

— Переведи ему, Артем, помири нас, ради бога. Хорошо, если бы он вернулся в свое стойбище.

Приняв от Медведева кружку горячего чая, Чугунов сделал один глоток, второй, блаженно щуря усталые глаза. Долго слушал разговор между Медведевым и Пойгином. Время от времени кивал головой, прикладывал руку к сердцу, надеясь, что Пойгин наконец поймет его и все простит.

— Оказывается, ты мне, Степан Степанович, в тот раз не сказал самого главного, — с некоторым отчуждением промолвил Медведев. — Как же это тебя угораздило сунуть огнивную доску в костер? Ведь это же... это священный предмет, самый главный хранитель очага... Надо же думать, батенька мой, надо считаться...

— Так я... я хотел добра, — не дал досказать Чугунов. — Я хотел отвести от него всякие сплетни о его шаманстве. Если бы знал язык... посоветовал бы сложить всех этих идолов в кучу и поджечь посреди стойбища! Мол, вот, отрекаюсь к чертовой матери, и не говорите, что я шаман!

Артем Петрович задумчиво теребил бороду, словно старался упрятать в ней невольную ядовитую усмешку.

— Добра хотеть мало, его надо уметь делать.

— Да я уж понял, что больше зла натворил. Подыграл, понимаешь ли, этому куркулю Ятчолю.

Услышав имя своего неприятеля, Пойгин сказал, обращаясь к Медведеву:

— Объясни торговому человеку, я очень обрадовался, когда узнал, что он все-таки выследил хитрую лису, понял, кто такой Ятчоль.

— Да я... я его... я из него чуть душу не вытряс, когда раскрылась для меня его куркульская душонка. Спекулянт! Чуть ли не полфактории, понимаешь ли, через подставных лиц перетащил в свою нору. А поначалу-то принял

мерзавца вот так. с распростертыми объятиями. — Чугунов широко развел руки. — Заставил, понимаешь ли, куркуля кое-что вернуть в факторию, освободил охотников от его долговой кабалы... И странно, думал, в горы, в глушь уйдет, а он под боком у культбазы оказался.

— Видишь ли, Ятчоль из тех, кто усвоил роль пособника пришельцев. Его не смущало, что был он при американцах, по сути, холуем. Он видел в том выгоду. Искал ту же выгоду при новых «пришельцах». На тебе обжегся. Попробовал прижиться на культбазе — не прижился. Иные сейчас пришельцы, не желают иметь холуев, не желают подкармливать марионеток... И хорошо, что это чувствует Пойгин и такие, как он... Ну, как твои успехи в языке? Пригодился ли мой словарь?

— Да, кое-что с пятого на десятое уже кумекаю. Но трудно, не дается язык. Завидую тебе...

— У меня, брат, другое дело. Призвание. Я ведь кандидат наук, лингвист, на этом собаку съел. Вот пишу сразу два учебника для чукотских школ. — Медведев глянул на часы. — Ну, ты тут подкрепляйся, а мне пора. Начинаются оленьи гонки...

14

На культбазу Медведев выехал вместе с Пойгином и Выльпой через двое суток. Чукчи ехали впереди. Упряжка их была всего из пяти собак. Чукчи соскакивали с нарты и долго бежали рядом с упряжкой. «Видимо, не один раз здесь бились все рекорды по марафонскому бегу, только пока об этом никто не знает», — размышлял Артем Петрович. Порой он оглядывался назад и видел цепочки собачьих упряжек береговых чукчей, которые выехали значительно позже, оставшись разбирать палатки, упаковывать грузы.

Километрах в пяти от культбазы, когда уже перевалили прибрежный хребет, вдруг из-за поворота, огибающего каменный выступ, выехала навстречу упряжка, которую ожесточенно погонял Ятчоль. Позади него сидел Журавлев. По лицу учителя Артем Петрович понял, что случилось несчастье. Спрыгнув с нарты, Журавлев побежал навстречу Медведеву, обгоняя собак.

— Артем Петрович, беда!

Медведев все понял: девочка умерла. Он почему-то не мог прямо глянуть в растерянное лицо Журавлева, наконец все-таки поднял на него глаза.

— Она умерла?

— Да, умерла. — Журавлев кинул смятенный взгляд на чукчей. Пойгин, почувствовав неладное, спросил у Медведева:

— Что случилось? Я понял, что этот русский сообщил тебе плохую весть.

Артем Петрович прокашлялся, дотрагиваясь до горла, болезненно поморщился и тихо сказал:

— Умерла Рагтына...

Пойгин зажмурил глаза, словно только так он был в силах осмыслить, что сказал Рыжебородый, и когда открыл снова, то увидел прежде всего лицо Выльпы, бескровное, с перекошенным, вздрагивающим ртом.

— Он, кажется, сказал, что Рагтына умерла, — промолвил Выльпа так, будто умолял Пойгина разуверить его,

Пойгин промолчал. Глянув с откровенной враждебностью на русских, он кивнул головой Выльпе и, тронув нарту, помчался к берегу Выльпа сделал несколько неверных шагов вслед за Пойгином и потом побежал, низко опустив голову.

— А что здесь надо этому шаману? — угрюмо спросил Журавлев. — Не вовремя принесло служителя духов.

Медведев не слышал Журавлева. Машинально обрывая наледь с бороды, он спросил:

— Детишки знают о смерти Рагтыны?

— Знают. Девочки плачут. Мальчики забились по углам и молчат. Вскрытие показало...

Увидев, как меняется лицо Медведева, Александр Васильевич бросился к нему, схватил за плечи.

— Вам плохо? Присядьте. Ах ты ж... Скверно-то как, все скверно...

— Разворачивайте свою упряжку. Поезжайте, я догоню. Мне надо побыть одному.

— С какой злостью и презрением посмотрел на меня этот шаман...

— Не слишком ли вы обеспокоены собой?

— Я не о себе. Я о шамане. Теперь не оберемся беды. Можно себе представить, как он это использует...

Медведев махнул рукой, неприязненно отвернулся от Журавлева. Присев на нарту, зачерпнул горсть снега, поднес ко рту. «Вскрытие. Врачи произвели вскрытие. Конечно, за этим стоит элементарный врачебный долг и непререкаемые юридические правила. Иначе поступить они не могли. И все же, все же... Как теперь доказать чукчам, что Рагтыну резали уже после смерти? Вот, вот она, страшная несуразица, более чем страшная...»

Журавлев давно уехал, а Медведев все еще сидел на нарте, не чувствуя холода. А когда поехал, собак не погонял, словно старался выиграть время, собраться с силами. И вдруг начал яростно торопить упряжку. «Что же я делаю? Пойгин и Выльпа умчались на берег. Кто знает, как они себя поведут».

Едва въехал Медведев на культбазу, как навстречу ему выбежала жена.

— Скорее к больнице! Только будь осторожен. У них ножи!

— У кого?

— У Пойгина и отца Рагтыны.

Артем Петрович прикрикнул на собак и помчался к больнице. На крыльце стационара, закрывая собою дверь, стоял Журавлев и уговаривал чукчей:

— Вы лучше спрячьте свои ножи. Не боюсь я их, не боюсь, понимаете?

— Отдай Рагтыну! — хрипел Выльпа. — Вы ее зарезали...

— Кто тебе сказал эту глупость?

— Ятчоль сказал. Вы ее зарезали... И теперь в деревянном ящике закопаете в землю. Я не хочу, чтобы она умерла два раза. Из ямы она не может уйти в Долину предков. Отдай Рагтыну!

Пойгин молчал, однако нож был крепко зажат в его руке. Александр Васильевич видел это и старался показать именно Пойгину, что он решительно ничего не боится. Нет, Журавлев не упивался своим бесстрашием, не думал, что вот, наконец, и случилось то, что не раз виделось ему в разгоряченном воображении. Он не думал о том, пустят или не пустят в ход ножи разгневанные чукчи, ему хотелось только одного: не позволить Пойгину и Выльпе ворваться в больницу, перепугать врачей. Да и мало ли что могло случиться в этой непредвиденной ситуации. Увидев Медведева, Журавлев облегченно вздохнул, сказав со спокойствием человека, который, быть может, впервые в жизни почувствовал, что значит самообладание мужчины:

— Мы здесь немножко поссорились. Они требуют труп Рагтыны...

Артем Петрович на мгновение задержал взгляд на Журавлеве, как бы оценив его заново, подошел к Пойгину, спокойно сказал, дотрагиваясь до чехла на его поясе:

— Спрячь нож. Случилось горе. Неужели мы будем добавлять к нему еще и другое?

— Ты мне ответь... Резали Рагтыну русские шаманы? — спросил Пойгин, медленно засовывая нож в чехол. — Только говори правду. Мы все равно увидим ее. Если закопаете в землю — мы выкопаем ее и увезем.

— Рагтыну резали, когда она уже была мертвой...

— О-о-о, так все-таки резали! — Пойгин опять потянулся к ножу. — Ты же сказал... Ты же поклялся...

— Ну как мне тебе доказать, что Рагтыну резали уже неживую.

— Зачем резать мертвую?! Зачем?!

— Пойдем в больницу. Врач вам все объяснит... — Медведев повернулся к Журавлеву. — Идите к детям.

Пойгина поразили резкие незнакомые запахи, едва перед ним открылся вход в обиталище русских шаманов, он даже на какое-то время зажал нос. Болезненно морщился и Выльпа, с испугом оглядываясь вокруг. Убитый горем, он не заметил, как оказался вместе с Пойгином и Рыжебородым в большом деревянном вместилище с белыми стенами и таким же белым потолком. Навстречу им поднялся седой человек с сухощавым усталым лицом. Одет он был во все белое. На подставке сидела русская женщина, тоже в белом. Лицо ее было заплаканным.

— Тут вам все объяснят, — осторожно прокашлявшись, сказал Рыжебородый. Он притронулся к локтю Выльпы и добавил: — Сядь вон на ту подставку. Если тебе здесь неудобно, садись на пол. Наша скорбная беседа может оказаться долгой...

Выльпа сел на пол у стены, предварительно осмотревшись, достал дрожащими руками трубку, раскурил. Рядом с ним присел и Пойгин, принял от Выльпы трубку, жадно затянулся.

— Разрешите мне сначала поговорить по-русски с этим человеком, — попросил Рыжебородый, показав на седого. — Мне надо знать, как все было...

Пойгин не ответил, уставившись с бесстрастным видом в окно, а Выльпа едва приметно кивнул в знак согласия головой, несколько удивленный, что потребовалось его позволение.

— Ах, Вениамин Михайлович, как же это?.. — сказал Медведев, присаживаясь на стул против главврача Сорокопудова.

— Надо удивляться, что с таким сердцем она дожила до девяти лет, — печально сказал Сорокопудов.

— Где она сейчас?

— В операционной...

— Я хочу подготовить вас к самому страшному... Кто-то пустил среди чукчей слух, что вы оперировали девочку... Иначе говоря, по их представлениям, мы, русские, ее зарезали...

— Вот даже как...

— Самое драматическое в нашем положении то, что вы произвели вскрытие... Я понимаю, это закон... Но я мучительно гадаю: что делать дальше?

Сорокопудов пожал плечами, устало потер лоб, сказал с тяжким вздохом:

— Хоронить, Артем Петрович, хоронить. — Кинул горестный и несколько недоуменный взгляд в сторону чукчей. — Удивительно спокойные лица. А ведь только что размахивали ножами.

— Бесстрастные... внешне бесстрастные лица, — уточнил Медведев. — Таков обычай. Но

если мы будем хоронить девочку по нашим обычаям... боюсь, что вы увидите лица этих мужчин иными...

— Я вас не понимаю...

— Я очень прошу понять меня, дорогой Вениамин Михайлович. — Медведев помолчал, как бы еще раз мучительно что-то взвешивая. — Да, прошу понять и поддержать. Самое верное было бы покойную отдать отцу...

— Это естественно, родители есть родители. Они должны вместе с нами... похоронить...

— Вместе с нами не выйдет, Вениамин Михайлович, они увезут ее в тундру и похоронят по-своему...

Медсестра Ирина Матвеевна, полная, повышенной чувствительности женщина, о таких говорят, что у них глаза на мокром месте, поморгала белесыми ресницами, спросила в крайнем недоумении:

— Как? Просто положат на холм, чтобы съели звери? Я знаю... у них так хоронят...

— Да, так...

Медсестра не сдержалась, заплакала.

— Господи, это же дико... Надо же по-человечески...

— Ирина Матвеевна, голубушка, поймите другое, — умолял Медведев, — для чукчей по-человечески именно то, как они хоронят...

— Ах, беда-то... Конечно, я все понимаю, но как же это... надо же их приучать...

Сорокопудов устало сгорбился, наморщил лоб.

— Слов нет, насаждать цивилизацию через похоронную обрядность... это нелепо. Однако боюсь, что найдутся и такие, кто обвинит нас в потакании дикости. Хотя вы, Артем Петрович, безусловно правы... Воля родителей — превыше всего.

Медведев долго молчал, тяжело упираясь руками в колени, наконец медленно поднял голову:

— Итак, решили. Покойную отдаем отцу. Надо ее показать. Сделаю это я... я сам...

— Нет уж, Артем Петрович, хозяин здесь я! — Сорокопудов встал, вдруг обнаружив во всей своей сухопарой фигуре внутреннюю собранность и силу, подошел к чукчам, положил руку на плечо Выльпы, затем слегка поклонился Пойгину. — Если бы вы могли меня понять, если бы могли... Жаль, что я не говорю по-чукотски.

Выльпа поежился от прикосновения русского шамана, а Пойгин ответил откровенной ненавистью во взгляде. Сорокопудов поднялся и сказал:

— Они, кажется, меня ненавидят...

Медведев осторожно, как бы ступая по ненадежному льду, прошелся по кабинету, остановился перед чукчами.

— Когда вы хороните людей, то вынуждены вскрывать горло или живот мертвого, чтобы выпустить злого духа. Таков ваш обычай. Врачи тоже должны были разрезать Рагтыну, уже мертвую, чтобы понять причину ее смерти. Уверяю вас, это было уже после смерти...

— Покажи Рагтыну! — потребовал Пойгин, не повышая голоса, но наполняя его откровенной непримиримостью.

— Сейчас покажу. — Артем Петрович на какое-то время ушел в себя, скорбно неутешный и в то же время бесконечно терпеливый. — Врачам всегда необходимо понять причину смерти, чтобы легче было потом изгнать ее из тела другого больного. Таков обычай. Не думаю что он чем-нибудь отличается от вашего. Мы не нарушили ваших обычаев и не нарушим. Мы не будем закапывать Рагтыну в землю. Мы отдадим ее вам...

Выльпа наконец поднял голову и долго смотрел на Медведева, часто мигая. Потом перевел взгляд на Пойгина, тихо сказал:

— Может, он говорит правду? Пожалуй, они ее не зарезали...

— Нет, я больше не верю Рыжебородому! — Ответил Пойгин так, будто человека, о котором он говорил, не было рядом.

Слова эти настолько изумили Медведева, что Пойгин понял: русский оскорблен и даже возмущен.

— Меня удивляет, что ты высказался обо мне так неуважительно. Да, очень неуважительно.

Произнес эти слова Рыжебородый твердо и даже сурово. В другое время Пойгин, может, и оценил бы это, он сам не прощал, когда о нем говорили неуважительно. Да, может, и оценил бы. Но сейчас... сейчас суровость Медведева усиливала его подозрительность и чувство вражды. Что если это его настоящий лик, а добрым он только прикидывается? И Пойгин сказал с вызовом:

— А меня удивляет, что нам до сих пор не показывают Рагтыну. Где она?!

Артем Петрович жестом пригласил чукчей выйти с ним в коридор и, показав на дверь операционной, едва слышно промолвил:

— Здесь.

Сорокопудов, помедлив, осторожно приподнял простыню с лица умершей девочки. Выльпа наклонился над дочерью, глядя в неподвижное лицо ее с горестным недоумением, потом с огромным трудом выпрямился, перевел смятенный взгляд на Пойгина. Похоже, он умолял сказать, что все это неправда, что дочь его жива... Но Пойгин тоже отказывался верить, что

перед ним та самая девочка, которую он лечил солнцем и мечтами о белых лебедях.

— Ее не зарезали? — тихо спросил у Пойгина Выльпа, стараясь понять по лицу Рагтыны, какими были ее последние мгновения. — По лицу не похоже, что она очень мучилась.

Пойгин промолчал, изо всех сил стараясь обрести бесстрастный вид. Протянув руку к простыне, он бесконечно долго медлил, наконец сорвал ее с тела девочки...

...Медленно везли голодные собаки скорбную кладь. Пойгин и Выльпа шли рядом с нартой. Когда перевалили прибрежные горы, увидели, что их догоняет упряжка собак.

— Кажется, едет Рыжебородый, — испуганно сказал Выльпа, пристально вглядываясь в цепочку прытко бегущих собак. — Может, хочет отнять тело Рагтыны?

Пойгин мрачно промолчал, нехотя поворачивая голову в сторону преследователя.

— Пусть лучше застрелит меня, — промолвил Выльпа, погоняя собак. — Давай поторопимся.

— Он все равно догонит, — ответил Пойгин, бережно поправляя на нарте спальный мешок, в котором находилось тело девочки.

Медведев действительно вскоре догнал упряжку всего из пяти собак.

— Я прошу вас остановиться и разжечь костер, — сказал он, окидывая ищущим взглядом берега речушки, покрытые редким кустарником.

— Зачем? — сурово спросил Пойгин.

— Вы голодные. Ваши собаки тоже. Притом их очень мало...

— Не притворяйся добрым!

И опять лицо Медведева стало жестким. Он выдержал взгляд Пойгина и сказал:

— Я не хочу скрывать, что обижен и даже рассержен. И я докажу, что ты не прав.

— Когда? И знаешь ли ты, как еще долго жить тебе?

— Сколько же, по-твоему?

— До первого восхода солнца. — Пойгин показал на синие зубчатые вершины далекого хребта где-то на самом краю тундры. — Вот как только над горами покажется солнце... я убью тебя...

Артем Петрович долго смотрел на синие горы, наконец перевел взгляд на Пойгина, и того поразило, что он не увидел в глазах русского ни страха, ни ненависти, ни мольбы, ни ответной угрозы.

— Да, времени у меня действительно мало, — как-то очень спокойно ответил Рыжебородый. — Солнце, по моим подсчетам, взойдет через полтора месяца... Но все-таки давайте разожжем костер, попьем чаю.

— Странный, очень странный ты человек. — Пойгин направил упряжку к кустарнику, туда, где он наиболее приметно торчал из-под снега.

Когда костер уже горел, Медведев расстелил шкуру, холщовое полотенце, разложил на нем куски мяса, хлеба.

Ели мясо и пили чай молча. Отложив в сторону железную кружку, Артем Петрович снял со своей нарты два нерпичьих мешка.

— Здесь еда для вас и для ваших собак.

Чукчи промолчали. Потоптавшись с тяжелыми мешками, Медведев положил их у костра. Затем достал кусок запасного потяга[1], привязал его к потягу упряжки чукчей.

— Что он делает? — спросил Выльпа, недоуменно наблюдая за действиями Рыжебородого.

— Кажется, хочет отдать нам несколько своих собак, — сказал Пойгин, не зная, чем отвечать на странные поступки русского. — Этот человек самый для меня непонятный из всех, кого я видел до сих пор...

И действительно, Рыжебородый впряг в нарту Выльпы пять своих собак и, подойдя к костру, сказал:

— Собак вернете, когда приедете на культбазу в следующий раз.

— Когда я приеду... ты знать не будешь, — ответил Пойгин, отводя взгляд от Рыжебородого.

Медведев покрутил головой, как бы высвобождая шею из тесного ворота заиндевелой кухлянки, посмотрел на небо.

— Ты меня не пугай, — сказал он по-прежнему сурово. — Угрожать так, как угрожаешь ты, — опасно. Для тебя опасно...

— Ты обо мне думаешь или о себе?

— Больше о тебе. Мне кажется, что тебя чем-то заарканили так называемые главные люди тундры. Смотри, не стань их послушным пособником.

— Я никому не был и не буду пособником! Я сам по себе. Я белый шаман и знаю, где зло, где добро...

— Это хорошо, если действительно знаешь. Тогда ты должен со мной согласиться вот в чем. У зла и у добра есть лицо. И часто это лицо человека, знакомого нам. Мне понятно, за что ты ненавидишь Ятчоля. И понятно, почему так участлив ты вот к этому человеку. — Рыжебородый поклонился Выльпе. — И я догадываюсь, что у тебя на душе, когда встречаешься с главными людьми тундры...

— Я их ненавижу так же, как и тебя.

— Если ты ненавидишь их, то меня рано

---

[1] Потяг — ремень с петлями, к которому пристегиваются собаки.

или поздно признаешь другом... А ненависть твоя ко мне пройдет, как черный туман. Рассудок твой помрачился от горя.

— Не ты ли со своими шаманами поверг меня в горе? Меня и вот его... человека, у которого больше никого не осталось... Вот почему я, возможно, подниму на тебя винчестер, когда взойдет солнце.

— Я очень надеюсь, что к тому времени ты поймешь вот какую истину: выстрелив в меня, ты выстрелишь в себя. Никому не говори о своей угрозе, если не хочешь беды. Я слышал твою угрозу, но я тебя прощаю.

Пойгин зло рассмеялся:

— Ты слышишь, Выльпа? Он... он меня прощает!

— А вот этого... насмешки твоей... я простить не могу. Я больше не буду с тобой разговаривать, пока рассудок твой затуманен. Я сказал все!

Рыжебородый подошел к нарте чукчей, снял малахай и замер, в скорбном отчуждении прощаясь с Рагтыной. Потом положил руку на плечо Выльпы, еще немного постоял и решительным шагом направился к своей упряжке. Тронув собак, уехал, так и не взглянув больше на Пойгина.

— Ты прав, он непонятный человек, — угрюмо сказал Выльпа.

— Да, непонятный, — не сразу ответил Пойгин, долго провожая взглядом нарту Рыжебородого.

15

На похороны Рагтыны приехал черный шаман Вапыскат. В стойбище Рырки, где стояла яранга Выльпы, собралось много оленных людей, прибывших даже из самых дальних мест. Весть, что русские шаманы зарезали больную девочку, потрясла всех; те, кто видел тело покойницы, рассказывали, что разрез на ее груди зашит. Это вызывало самые невероятные догадки. Скорее всего, русские шаманы хотели скрыть, что зарезали ребенка; но неужели они настолько глупы, чтобы не понимать всю тщетность этой попытки: шов может разглядеть даже слепой.

Суетились люди у яранги Выльпы, перед ее входом устанавливали нарту на два деревянных катка, которыми уже не раз пользовался на похоронах Вапыскат. Рагтыну одели в керкер, привязали к нему мешочек, заполненный кусочками шкур, оленьими жилами, вложили в него несколько иголок, наперсток. Все это были предметы, необходимые женщине, отправляющейся в Долину предков. Рядом с мешочком прикрепили оленьими жилами кусочек плиточного чая, чашку, ложку. Положили покойницу на нарту. Вапыскат наблюдал за суетой женщин в печальной задумчивости, не выпуская изо рта трубку. Полузакрытые, с больными веками глаза его были похожи на две красные щели. Порой он вскрикивал голосом, не похожим на голос ни одного из земных существ, женщины вздрагивали, обращали к нему заплаканные лица. Когда нарту с покойницей вывезли из яранги и установили на катки, женщины уселись вокруг нее на корточки и протяжно завыли на разные голоса, оплакивая ушедшую из земного мира.

Пойгин сидел на грузовой нарте невдалеке от яранги Выльпы. Вслушивался в плач женщин, среди которых была и Кайти, и спрашивал себя: в чем тайна перекочевки в Долину предков? Будет ли он знать, когда и его так вот положат неподвижным на нарту, что жил когда-то в земном мире, в состоянии ли будет помнить лицо, глаза, голос Кайти? И если суждено ему в конце концов убить Рыжебородого, то где будет после смерти этот человек? Уходят ли русские к верхним людям?

Оплакивают женщины покойницу, мужчины, сидя группами чуть поодаль, курят трубки — само воплощение ничем не возмутимого бесстрастия: пусть злые духи не ищут себе здесь очередной жертвы.

Но вот умолкли женщины. К нарте медленно, высоко подняв руки, бормоча шаманские невнятные говорения, подошел Вапыскат; вдруг он умолк, пристально оглядел столпившихся у нарты людей, повелительным взмахом руки пригласил подойти поближе тех, чьи дети находятся в деревянном стойбище Рыжебородого. В тундре оказалось таких всего пять семей, остальные — из береговых стойбищ: береговые неразборчивы в связях с пришельцами, потому охотно отдают своих детей Рыжебородому. Но Вапыскат доберется и до них. А теперь он возвестит, что будет с детьми вот этих людей, которые склонились над покойной девочкой, он предскажет, что каждого ребенка, безрассудно отданного в руки чужеземцев, ждет страшная участь дочери глупого Выльпы.

Черный шаман встал на колени, взялся за копылья нарты, попробовал проволочить ее по деревянным каткам. Завизжали катки в снегу, а люди замерли, зная, что сейчас начнется самое страшное: шаман назовет чье-то имя, толкнет нарту, а потом потянет ее на себя; если нарта покатится легко, без всякой задержки — значит, человек, названный им, скоро умрет. Сегодня Вапыскат будет называть лишь имена детей, которых безрассудные родители отдали в деревянное стойбище Рыжебородого, — так он объявил всем, кто собрался на похороны дочери Выльпы.

Замерли люди. Не выдерживают томительного молчания шамана родители детей, отданных в деревянное стойбище, особенно страдают матери.

— Я называю первым имя твоего сына, безрассудный Майна-Воопка, твоего сына, безрассудная Пэпэв, слушайте. Сейчас я его громко выкликну и узнаю, что скажет нарта с покойницей в ответ. Потерпите еще немного. — Зажмурившись, Вапыскат низко опускает голову, крепко сжимает копылья нарты и медлит, медлит, медлит, медлит.

«Проклятый, можно подумать, что он научился мучить людей еще в чреве своей матери», — думает Пойгин, наблюдая, как бледнеет Пэпэв, как горбится Майна-Воопка.

— Омрыкай! — наконец выкрикивает черный шаман.

Пэпэв закрывает лицо руками. А Вапыскат опять медлит. Наконец громко спрашивает, обращаясь к похоронной нарте:

— Скажи, не утаив ничего, заболеет ли сын безрассудных родителей, мальчик по имени Омрыкай? Заболеет ли настолько, что шаманы пришельцев воткнут в него свои ножи? Воткнут ножи и лишат его, как вот эту покойную девочку, жизненной силы, имеющей суть горячей, красной крови? Скажи правду, ничего не тая! Скажи!!!

И снова прошло еще столько тяжких мгновений, сколько звезд на небе, прежде чем черный шаман сдвинул нарту. И вскричала Пэпэв, падая в обморок: нарта сдвинулась сразу же.

— Он умрет, — едва слышно промолвил Вапыскат, — умрет... Нарта сдвинулась так, будто это перо птицы, которое движется даже при самом слабом ветерке...

Обезумевший от страха и горя Майна-Воопка растолкал людей, подбежал к своей нарте, отвязал чехол с винчестером. Трудно было понять, что он хочет делать: отправляться ли немедленно в дальний путь на берег, чтобы расправиться с пришельцами, или пришло ему на ум разрядить винчестер в себя...

Пойгин подошел к Майна-Воопке, взял из его рук чехол с винчестером, опять привязал к нарте, негромко сказал:

— Вапыскат слишком сильно дергает нарту, потому она лжет. Я сам после него узнаю ее предсказания.

Майна-Воопка, большой, горбоносый, как лось, передохнул, с надеждой сказал умоляюще:

— Я прошу тебя, очень прошу... Проверь нарту. Руками черного шамана, наверное, движут ложь и злоба.

А Вапыскат и вправду в своих предсказаниях был беспощаден. Вот уже и пятое имя выкликает он громко, с каким-то мстительным упоением, и снова тот же приговор:

— Он умрет! Нарта оказалась легче былинки, летящей по воздуху в осеннюю пору. О, горе вам, безрассудные отцы и матери! Сами породили детей, сами обрекли их на смерть!

— Нарта в твоих руках лжет! — воскликнул Пойгин, склоняясь над черным шаманом. — Я проверю ее предсказания заново!

Вапыскат медленно поднял голову, глядя красными щелками на Пойгина снизу вверх, тихо спросил:

— Это ты посмел своим громким голосом отвлечь меня от похоронного прорицания?

— Я!

— Как ты смеешь, подлый потакальщик пришельцам?

— Нарта в твоих руках лжет! — упрямо повторил Пойгин, чутко улавливая в людской толпе поддержку. — Уступи место мне...

И закричали люди:

— Уступи!

— Пусть спросит нарту Пойгин!

— Пусть Пойгин! Он никого никогда не пугает!

Вапыскат медленно поднялся, отряхнул колени от снега; было видно, что он растерян и никак не может найти выход из унизительного положения. Пойгин чувствовал на себе взгляды людей, полные благодарности и надежды. Но не все смотрели на него с надеждой — у иных во взгляде был только страх. Рырка и Эттыкай смотрели на Пойгина так, будто они ослепли от ненависти.

Вапыскат выбросил перед собой руки и медленно двинулся через толпу, выборматывая невнятные говорения. Остановившись у яранги Рырки, громко сказал:

— Я вас не пугал, я просто предрекал, что должно случиться помимо моей воли. Будет все так, как предсказала в моих руках похоронная нарта! Запрягите моих оленей. Я оскорблен! Я буду мчаться отсюда прочь быстрее самого сильного ветра!

Но никто не бросился запрягать оленей черному шаману, все смотрели на Пойгина. Даже хозяин стойбища Рырка, которому следовало бы обеспокоиться, что дорогой ему гость оскорблен и хочет уехать, — даже он не двинулся с места, дожидаясь, что скажет нарта в руках Пойгина.

Сбросив с себя малахай, Пойгин опустился на колени, обхватил оголенными руками копылья нарты и назвал негромко имя сына Майна-Воопки.

И напрягся Пойгин. Покраснело от натуги его лицо, даже пот выступил на лбу. Да, да, это был пот! И руки Пойгина, сильные руки его,

напряглись, как это бывает, когда надо сдвинуть огромную тяжесть. Да, нарта была тяжела, неимоверно тяжела! Сдвинуть ее даже такому сильному, здоровому человеку, как Пойгин, оказалось не так-то легко. Значит, Омрыкай будет жить. И люди, не скрывая радости, зашумели:

— Будет жить!

— Будет!

— Нарта в руках Пойгина не лжет! Он никому не желает зла.

Тяжко вдавливая полозья в снег, нарта едва-едва сдвинулась с места и снова замерла.

— Будет жить! — наконец изрек и Пойгин.

— Он умрет! — пронзительно закричал Вапыскат: непонятно было, как мог возникнуть подобный голос в такой чахлой груди.

— Будет жить! — ответил ему Пойгин, вытирая пот со лба.

И еще четыре раза двигал нарту Пойгин, искажая лицо от натуги, и провозглашал:

— Будет жить!

А Вапыскат тыкал в сторону толпы костлявые кулачки и кричал так, что закипала слюна на губах:

— Умрет! Умрет! Умрет!

Пойгин встал, преисполненный печальной, как и подобает на похоронах, и торжественной доброты.

Отыскав в толпе Эттыкая, Рырка кивнул ему головой, приглашая в свою ярангу для уединения. Смущенный и озадаченный поступком Пойгина, Эттыкай пробился сквозь толпу и только после того, как очутился в яранге Рырки, сказал:

— Я уж и не знаю, каким арканом можно связать этого анкалина. Лучше бы он жил у себя на берегу и охотился на моржей.

— Лучше бы его увезти на похоронной нарте, как сейчас повезут Рагтыну! — наконец словно спустил себя с аркана Рырка. — Это ты спас его от шкуры черной собаки! Хочешь перехитрить самого себя...

Долго пререкались главные люди тундры, стараясь расставить хитроумные капканы Пойгину. Сошлись на том, что вынашивали уже давно: принудить Пойгина поднять винчестер на Рыжебородого. Или смерть Рыжебородому, или смерть самому Пойгину — третьей тропы в этом мире у него быть не должно. Когда они вышли из яранги, цепочка похоронной процессии была уже далеко: Рагтыну увозили на высокий холм, открытый всем ветрам...

Семерых учеников забрали родители из интерната культбазовской школы, и не было никакой уверенности, что завтра не приедут за другими.

— Артем Петрович, нельзя, нельзя отдавать детей! — выходил из себя Журавлев, удивляясь спокойствию начальника культбазы. — Это развал школы. Против нас действуют враждебные силы, а мы сидим сложа руки...

— А ты собираешься давать рукам волю?

— Но ведь надо же действовать! Всем, кто спекулирует на смерти школьницы, надо заткнуть рот.

— Есть, есть и такие, которые спекулируют на этом горе. Но рот им не заткнешь. Нам надо действовать по-другому...

Но не только Журавлев боялся развала школы, кое-кто обеспокоился и в районном центре. На культбазу прибыла комиссия во главе с заведующим районо Игорем Семеновичем Величко. Кроме него, приехал работник райздрава Шульгин и заведующий факторией Чугунов. «Пусть едет, ему там рукой подать, всего двести километров», — пошутил председатель райисполкома.

Величко, молодой, но уже полнеющий человек с белозубой обаятельной улыбкой, производил впечатление добродушного малого; однако он изо всех сил старался показать свою твердость и принципиальность.

— Я к вам с полнейшей расположенностью, но я должен быть объективным. Истина дороже всего.

— Да, да, конечно, истина дороже всего, — соглашался Медведев.

— Из школы убыло семь учеников. Семь! — Величко потряс пятерней одной руки, поднял два пальца второй. — У вас богатейшая культбаза. Таких на Чукотке пока всего три. Правительство не поскупилось ни на штаты, ни на оборудование...

— Да, это верно...

— Но у вас произошел смертный случай. Испуганные чукчи забирают детей. Как, как я все это должен квалифицировать при самом полнейшем расположении к вам?

Величко улыбнулся с искренним сочувствием, но тут же прогнал улыбку и как-то еще более монументально утвердился в кресле за столом начальника культбазы.

— Мне вам пока нечего сказать. Не буду же я обращать ваше внимание на то, что жизнь есть жизнь, со всеми ее противоречиями и сложностями. А здесь их хоть отбавляй. Мы не рассчитываем на дорогу гладкую, как скатерть. Думаю, что вы со мной согласны.

— Согласен, дорогой Артем Петрович. Я глубоко уважаю вас как ученого. Ваш букварь на чукотском языке не имеет цены.

— Несовершенный еще букварь, очень несовершенный. Работаю над новым.

В кабинет вошел Чугунов. Был он в прекраснейшем расположении духа, какой-то размашистый, экзотичный в своих меховых одеж-

дах: унты из собачьей шкуры, меховые штаны, кухлянка, огромный волчий малахай.

— Удивительные детишки! Боролся сейчас с ними. Облепили, как муравьи. — Сняв малахай и кухлянку, Чугунов швырнул их в угол на стулья, уселся в кресло. — Порядок у тебя, Артем Петрович, отменный. В интернате чистота, в школе — как во дворце...

Величко сощурил большие, чуть навыкате глаза, изящным жестом мизинца сбил пепел с папиросы.

— Я не хотел бы акцентировать внимание на одном весьма щекотливом вопросе. Но все-таки кое-что уточнить надо. Как вышло, что вы, Артем Петрович, отказались... м-м... похоронить школьницу?

Глаза Медведева набрякли тоскою и обидой. Долго сидел он молча, горестно-задумчивый, наглухо замкнутый в себя. Наконец ответил из какой-то непомерной дали глубокого отчуждения:

— Она похоронена.

— Кем?

— Ее отцом.

— Как похоронена?

— По чукотским обычаям.

— С шаманскими плясками?

— Шаманы на похоронах не пляшут.

— Извините, я не такой тонкий знаток чукотских обычаев, как вы. Однако не кажется ли вам, что вы совершили какую-то непростительную... — Величко поискал подходящее слово. — Непростительное...

— Преступление, — подсказал Артем Петрович.

— Зачем вы так... я говорю о недопонимании. Ну, могли же вы, с вашим знанием языка, с вашим подходом, убедить родителей... склонить, так сказать, к иной обрядности...

— Не мог! Не мог я мановением волшебной палочки заставить их принять иные обычаи, отказаться от своих, складывавшихся не один век...

— Не знаю, насколько все это убедительно. Все далеко не просто. Невольно приходит мысль, что вы пошли на поводу людей, которые находятся в плену диких суеверий, мало того, на поводу шаманских элементов. В районе наслышаны о шамане Пойгине...

— Ты вот что, Игорь Семенович, поменьше слушай, что болтают об этом самом Пойгине. Ты лучше меня расспроси. — Чугунов постучал себя в грудь. — Уж кто-кто, а я его знаю.

Величко помолчал, посмотрел на часы.

— Я приглашал на двенадцать ноль-ноль Журавлева.

— Будет, будет Журавлев минута в минуту, — пообещал Артем Петрович и тоже посмотрел на часы.

Александр Васильевич явился минута в минуту. Однако отвечал на вопросы Величко вяло, однозначно, хотя перед началом работы комиссии он заявил Медведеву, что разногласий своих с ним скрывать не собирается, выскажет все, что считает нужным.

— Что же вы так пассивны, — сказал Величко, разглядывая Журавлева с некоторой досадой. — Или вас не волнует, что детишек забирают из школы?

— Волнует. Так же волнует, как и всех, и прежде всего начальника культбазы... Но мы верим, что завтра дети вернутся. И вот именно те, возвращенные, нам станут еще дороже, потому что...

— Ну, ну, развивайте вашу мысль!

— Я ее разовью, когда дети вернутся.

— Вот это будет вернее, потому что желаемое не всегда становится действительным. Ну, а теперь расскажите, как это было, когда чукчи перед больницей схватились за ножи...

Журавлев удивленно посмотрел на Медведева и сказал:

— Что-то я не припомню такого случая...

— Напрасно, напрасно утаиваете... — Величко не просто погасил, а раздавил окурок в пепельнице. — Ведь вы же, Александр Васильевич, проявили немалое мужество. Мне обо всем рассказала медсестра...

Журавлев засмеялся, вытащил трубку, пососал, не решаясь раскурить ее в кабинете начальника культбазы...

— Медсестра — милая женщина, готова романтизировать здесь каждого из нас. Особенно почему-то меня. Наверное, потому, что курю трубку. Она, конечно, сильно все преувеличила...

— Ну что ж, Александр Васильевич, вы пока свободны. Занимайтесь своим делом.

Когда Журавлев ушел, Величко довольно улыбнулся:

— Как вам это нравится? Его, видите ли, излишне романтизируют. Симпатичный малый. Другой бы действительно... героем ходил. Трубку-то изо рта, поди, не вынимает. Полярный волк!

На пятый день работы комиссии на культбазу приехали чукчи из тундры, требуя, чтобы им отдали детей. На этот раз школа должна была расстаться сразу с тремя учениками. Встречал чукчей вместе с начальником культбазы и Величко. Зная десяток чукотских слов, он старался выказать полнейшее радушие гостям и был искренне раздосадован, когда понял, что гости отвечают ему ничем не пробиваемым бесстрастием.

Среди приехавших был и Майна-Воопка.

— Мы хотим видеть наших детей! — тоном ультиматума сказал он.

— Сейчас вы их увидите, — миролюбиво пообещал Медведев. — Почему вы хотите их забрать?

— Им надо учиться понимать оленей.

— А не потому, что вас кто-то пугает бедою? Доходили до меня вести, что очень уж старается черный шаман Вапыскат.

Спутник Майна-Воопки, сухой старичок, закивал головой, охотно подтверждая:

— Да, Вапыскат всегда пугает. Он предрек Омрыкаю смерть...

— Омрыкай — мой сын, — сказал Майна-Воопка, блуждая тоскливым взглядом по снежной поляне у школы, где возились ребятишки. — Я не очень верю черному шаману, больше хочется верить Пойгину... Этот человек предрек моему сыну жизнь... Но как знать, какой из шаманов окажется прав?

— Идемте пить чай, — пригласил чукчей Медведев. — Там и поговорите с вашими детьми.

— У меня внук, внучек, — уточнил старичок.

За чаем в комнате для гостей Майна-Воопка разглядывал Медведева со скрытым любопытством, на вопросы отвечал осторожно, но постепенно разговорился.

— Не сказал ли Пойгин, когда приедет ко мне?

— Ты не очень жди его...

— Почему?

— Неизвестно, чем кончатся его думы о тебе к началу восхождения солнца. Берегись, если его пригонит сюда ветер ярости...

— Ты боишься за меня или за него?

— Я не хочу, чтобы такой добрый человек, как Пойгин, совершил от ярости зло. Вапыскат перестанет закрывать рот от хохота... Я не хочу, чтобы радовался черный шаман. Радость черного шамана страшнее всякой печали.

Артем Петрович слушал Майна-Воопку с подчеркнутым уважением и надеждой, что судьба, возможно, послала ему союзника.

— Твои слова достойны самого серьезного внимания. Я рад, что повстречался с человеком такого рассудка.

— Рассудок есть у него, это диво просто, какой рассудок! — закивал седовласой головой старичок. Сморщенное личико его излучало важность и гордость. — Да будет известно тебе, что этот умный человек мой племянник.

Майна-Воопка застенчиво улыбнулся, кинув смущенный взгляд на старичка, и, видимо боясь размягчиться, нарочито строго сказал:

— Мы хотим видеть наших детей.

— Я уже сказал помощникам, чтобы их послали сюда.

Майна-Воопка снова наполнил чашку чаем, покосился на Медведева и вдруг спросил:

— Не можешь ли ты показать нам свою грудь, живот и спину?

Артем Петрович медленно поставил чашку на стол.

— Могу показать. Но зачем?

— Вапыскат наслал на тебя порчу. По срокам, ты уже должен быть весь в язвах.

— Ну, ну, я так и подумал. — Медведев, стараясь скрыть улыбку, снял гимнастерку, нижнюю рубашку. — Вот, смотрите, на мне никаких болячек...

Чукчи внимательно осмотрели Рыжебородого, старичок дотронулся до волосатой груди.

— Тебе, я вижу, можно ходить совсем без одежды, — пошутил он, — никогда не видел такого волосатого человека. — И после некоторого раздумья добавил: — Что ж, Вапыскат оказался бессильным. Так и скажем всем. Я сам скажу ему об этом в лицо.

— Вапыскат оказался еще и лжецом. — Артем Петрович подлил в чашку старика чаю. — Он боится культбазы. Он боится перемен...

— Да, о переменах говорят все люди тундры, — подтвердил Майна-Воопка. — Вапыскат пугает тем, что, возможно, сдвинулась сама Элькэп-енэр. Раньше никогда со стороны моря ничего не приходило дурного, говорит он, а теперь все переменилось. Со стороны моря веет бедой...

— Ну, а как думаешь ты?

— Пока просто думаю. Жду. Хотя каждому ясно... если из стойбищ анкалит прогнали видение смерти, то, значит, со стороны моря веет не запахом смерти, а дымом живых очагов. И надо бы черному шаману как следует понюхать этот дым и прикусить язык.

— Так заставьте его прикусить язык сами!

— Заставим. — Майна-Воопка снова наполнил чашку чаем, покосился на Медведева. — Ты не удивляйся, что я так говорю о черном шамане. Его ненавидел мой отец, ненавижу и я... Вапыскат задушил шкурой черной собаки моего старшего брата...

— Да, задушил, — подтвердил старичок. — И сказал, что его задушили духи луны за непочтительное к ней отношение. Давно это было. Перед тем как уехать на праздник в долину Золотого камня, Вапыскат этой шкурой едва не задушил Пойгина...

Артем Петрович от изумления не донес блюдце с чаем до рта.

— Почему же тогда ты боишься, что ветер ярости приведет сюда Пойгина моим врагом?

— Он пережил выскэвык[1]. Это страшно, когда такой человек переживает выскэвык. У него душа намного обширней, чем надо одному человеку. На озере волна скоро проходит, а на море, сам знаешь, как долго не утихает буря.

— Да. Я тебя понимаю. Передай Пойгину, что я хочу, чтобы мороз непонимания ушел и подул теплый ветер доверия. Хочу, чтобы мы были друзьями. Сейчас придут к вам ваши дети. Говорите с ними, сколько вам будет необходимо...

В глубокой задумчивости вошел Медведев в свой кабинет. Не слишком ли рискованно было оставлять гостей один на один с их детьми? Мало ли по какому руслу пойдет их беседа. Не захлестнет ли детские души радость встречи с родными людьми настолько, что в них не останется ничего другого, кроме желания поскорее уехать домой? Проявят ли взрослые столько терпения и мудрости, чтобы самим не утонуть в радости встречи и тоске по детям? Не лучше ли было бы присутствовать при этом свидании и осторожно, исподволь, направлять его ход?

Артем Петрович сел в глубокое кресло у стола, не включив свет; ему хотелось побыть одному, дожидаясь исхода встречи трех школьников с их отцами и дедом. Да, он понимал, что это своего рода испытание. На что он надеется? Ну, прежде всего на детскую непосредственность, на то, что славные эти детишки не смогут не высказать всего, чем они здесь удивлены, захвачены, в конце концов, по-человечески согреты. Они в состоянии объяснить куда больше встревоженным их родителям, чем кто-либо другой. Рановато надеяться на такой исход? Может быть, может быть... И все-таки, все-таки пусть будет так, как он решил; в конце концов, пусть гости из тундры почувствуют, что у него нет от них никаких тайн...

В кабинет вошли Величко, Чугунов и Журавлев.

— Что это вы впотьмах? — спросил Величко, нащупывая выключатель. — Кстати замечу, движок ваш работает отменно. Мы у себя больше на керосиновые лампы надеемся.

Все ждали, что скажет Медведев. На пороге показался Майна-Воопка; уже по его виду можно было понять, что он мало чем обрадует собравшихся.

— Мы увозим детей. Может, вернем их в первый день восхождения солнца.

Это был удар. Журавлев застонал, отвернулся к окошку. А Медведев даже не шевельнулся, как бы стараясь не расплескать остатки сил.

— Ты сказал «может, вернем...» Но, может, и не вернете? — спросил он гостя.

— Не знаю. Пусть попасут оленей, побудут с нами. Надо приглядеться, какими стали они. Вапыскат говорит, что вы испортили им рассудок. Я ему не верю. Но надо все-таки приглядеться. Я дал бы тебе слово, что привезем детей точно в день восхождения солнца, но хочу сначала услышать слово Пойгина. Если он согласится — дети будут снова у вас.

— Так ли уж охотно покидает твой сын школу?

— О, нет, нет. Заплакал даже. Но и обрадовался, что увидит мать, оленей. Должен сказать тебе правду... дети любят тебя. Они рады тому, что постигают тайну немоговорящих вестей. Они говорят, что хотят жить здесь, только очень скучают по дому и по оленям...

Артем Петрович выпрямился и вздохнул полной грудью. Произошло самое главное: надежда его оправдалась — детские сердца сказали свое. Им есть, есть что сказать! И пусть едут эти детишки в тундру именно сейчас, а не в каникулы, пусть едут немедленно. Пусть и там выскажут то, что услышал от них вот этот думающий, умный человек Майна-Воопка — то есть Большой лось. И даже если их в этом году в школу не пустят — не беда! Это лишь для формалиста может показаться, что происходит едва ли не катастрофа. Катастрофы никакой нет, есть победа. Родилось в детских душах свое доброе представление о школе, об учителях, о врачах. Доброе представление! Может, этого мало? Нет, черт побери, много, достаточно много на сегодняшний день. Интересно, поймет ли это Величко?

Когда Медведев объяснил, что произошло, все долго молчали. Артем Петрович жестом попросил Майна-Воопку присесть. Тот, чувствуя напряженную тишину, осторожно опустился на краешек стула.

Величко прошелся по кабинету, разглядывая в глубокой задумчивости свои роскошные, расшитые замысловатыми узорами торбаза, наконец сказал:

— Да, сложна, сложна жизнь в Заполярье. Возможно, что вы и правы... развала школы нет, есть становление советской школы за Полярным кругом. И я, кажется, на вашей стороне, Артем Петрович. Но... — Величко вскинул палец, повторил еще выразительней. — Но! Убежден, что в районе найдутся люди, которые будут думать иначе. Возможно, из наблюдений комиссии они сделают совершенно иные выводы...

— А знаешь, товарищ Величко, я, пожалуй, еще раз перечитаю акт, — вдруг заявил Чугунов, подвигаясь к столу. — Мне кажется, что он составлен, понимаешь ли, и так, и этак.

— То есть? — Величко оскорбленно потупился и снова вскинул глаза. — Не очень-то вы, по-моему, деликатно выразились...

---

[1] Выскэвык — разочарование.

— На кой черт мне эта деликатность, если я не совсем уверен в принципиальности заключения? Нам надо четко сформулировать наше мнение. А вот того самого, чтобы, значит, четко... я, кажется, в акте и не совсем почувствовал. Фактик, понимаешь ли, можно повернуть и туда, и сюда...

Величко строго прокашлялся и сказал:

— Завтра я уезжаю. Надо, Артем Петрович, собрать учителей. Я хочу потолковать уже по сугубо нашим профессиональным делам. — Посмотрел на часы. — Хорошо бы в шестнадцать ноль-ноль.

— Я соберу, Игорь Семенович, — не столько с почтением, сколько с подчеркнутой корректностью ответил Медведев.

— Ну, а что касается актика, то я его почитаю еще раз, иначе не подпишу, — упрямо повторил Чугунов.

— Ну, ну, пожалуйста, — с легким отчуждением и с чувством подчеркнутого достоинства согласился Величко. — Вот он, читайте...

16

Стойбище Майна-Воопки состояло всего из пяти яранг таких же небогатых чавчыват, как и он сам. Каждой семье принадлежало не больше шестидесяти голов оленей. Это было очень дружное стойбище, которое старалось никому не давать себя в обиду.

Подъезжал Майна-Воопка с сынишкой к собственному очагу на третьи сутки; спутники его, с которыми он выехал из культбазы, свернули на свои кочевые тракты сутками раньше.

— Ну, не совсем еще замерз? — спросил Майна-Воопка, чувствуя, что сынишка у него за спиной начинает клевать носом.

Омрыкай стряхнул с себя оцепенение сна и стужи, вгляделся в мерцающий зелеными искрами подлунный мир тундры и хотел было сказать, что путь их, наверное, не имеет конца, как вдруг возбужденно воскликнул:

— Я чувствую дым! Я чувствую запах стойбища [1].

— То-то же! — усмешливо ответил отец. — А я думал, что ты разучился понимать запахи. Вы там, говорят, все перепутали... глазами слышите, ушами видите, а что с носом вашим происходит — не знаю...

— Неправда это, отец! — весело выкрикнул Омрыкай и, соскочив с нарты, побежал рядом.

Чуя близкое стойбище, прибавили бегу и собаки. Однако Майна-Воопка вдруг остановил упряжку, принялся неторопливо раскуривать трубку. Омрыкай в душе подосадовал: зачем отец медлит, когда так не терпится поскорее увидеть маму? Но вот мальчишка насторожился, потом нетерпеливо развязал ремешки малахая, обнажил ухо и закричал:

— Стадо! Я слышу стадо! Вон в той стороне пасутся олени!

— То-то же! — опять воскликнул Майна-Воопка, радуясь, что сын выдержал еще одно испытание. — Значит, уши у тебя как уши...

Отец улыбался, сладко затягиваясь из трубки, а Омрыкай все слушал и слушал, как шумит оленье стадо. Оно было далеко, скрытое густой мглой подлунной изморози; мгла образовывалась от дыхания оленей и пыли взбитого снега. Оттуда доносилось оленье хорканье, сухой перестук рогов, перезвон колокольчиков, подвешенных к шеям вожаков. Мальчику казалось, что он различает звон колокольчика, который сам когда-то подвешивал к шее огромного быка-чимнэ. О, это диво просто — слушать в морозной ночи далекий-далекий колокольчик. Омрыкаю чудится, что это звенят копытца его любимого кэюкая [1] Чернохвостика, о котором он очень тосковал там, в школе.

Однажды Надежда Сергеевна сказала ему на уроке: «Ты, кажется, в мыслях не здесь, ушел куда-то?» — «Ушел в свое стойбище». — «Тоскуешь?» — «Как не тосковать, стадо оставил совсем без присмотра, боюсь, не напали бы волки на моего кэюкая». Класс рассмеялся. Заулыбалась и Надежда Сергеевна. «Расскажи нам про своего кэюкая», — попросила она, прерывая урок арифметики. Омрыкай долго смотрел в потолок и наконец сказал: «Родился он существом иного вида[2]. Весь-весь, как снег, белый, а хвост черный. Я и назвал его Чернохвостиком. Очень быстрый кэюкай. Когда вырастет, я буду брать все самые главные призы на гонках. Только, наверное, не доживет он до той поры. Оленей иного вида чаще всего приносят в жертву духам...» Да, то была неутолимая тоска маленького оленного человека, который «оставил стадо без присмотра», по привычной жизни.

И вот Омрыкай наконец едет домой. Завтра он увидит своего Чернохвостика.

— Ты что, неужто уснул? — доносится голос отца.

Омрыкай очнулся, с трудом понял, о чем спрашивает отец.

— Да нет, не сплю я, колокольчик слушаю. В школе у нас тоже есть почти такой же...

— К шеям подвешивают вам?

---

[1] У чукчей чрезвычайно развито обоняние.

[1] К э ю к а й — теленок.

[2] Так чукчи называют животных необычной масти или же уродцев.

— Да нет. Что мы — олени?

И опять замер Омрыкай, вслушиваясь в далекий шум стада. И вдруг звон колокольчика вошел в его сердце как-то совсем по-иному, какой-то пронзительно острой иглой: а что если и вправду Чернохвостика уже нет в живых? Всю дорогу спрашивал Омрыкай про белоснежного олененка, и отец неизменно отвечал с загадочным видом: «Сам все скоро увидишь. А может, и не увидишь. Ты теперь, наверное, зайца от оленя отличить не сможешь». Почему он так отвечал? Решил, что сын его отвык от жизни обыкновенного оленного человека? Или не хочет пока сознаваться, что белоснежный олененок принесен в жертву злым духам?

Майна-Воопка, внимательно наблюдавший за сыном, уловил перемену в его настроении, догадался, о чем он думает:

— Жив, жив твой Чернохвостик! — сказал он с великодушием, которому не давал прорваться за весь долгий путь. — Только он уже не кэюкай, а настоящий пээчвак [1], может, завтра ты и не узнаешь его.

Омрыкай засмеялся от счастья. Какой у него хороший отец, угадал его мысли! Чернохвостик жив!

Прежде чем тронуть с места нарту, Майна-Воопка протянул сыну трубку. Омрыкай нерешительно взял трубку и тут же вернул:

— Нельзя, отец. Когда курит малый — в грудь к нему входит немочь. Так нам говорят в школе. Там на куренье наложен запрет...

Майна-Воопка изумленно вскинул заиндевелые брови.

— Запрет, говоришь? — спросил он, пока не зная, как отнестись к словам сына. — А я думаю, почему он так и не покурил ни разу в долгом пути?

— Да, запрет, — солидно подтвердил Омрыкай. — Когда у меня учительница отобрала трубку, я чуть не заплакал. Ты же знаешь, какая у меня красивая трубка. Потом я и забыл о ней, кашлять меньше стал, голова не кружится...

— Значит, на трубку там запрет, — уже в глубокой задумчивости повторил Майна-Воопка, погоняя собак. — На что еще у вас там запрет?

— На драку запрет, на лживые наговоры, на лень...

— О, и на лень тоже!

— Да, и на лень. Я никогда не ленился. Сколько надо читать — читал, писать — писал. Задачи даже во сне решаю...

— Постой, постой, я ничего не пойму, что такое читал, писал? А задачи — что это такое?

— Я все потом покажу. Я взял с собой тетради, букварь, задачник и даже «Родную речь»...

И опять ничего не понял Майна-Воопка.

— Я видел, что ты совал в свою сумку эти всякие непонятные вещи. Но не таят ли они в себе зло? Может, не следует тащить их в ярангу? Не лучше ли закопать их в снег?

Омрыкай, казалось, даже дышать перестал:

— Что ты, отец! Это просто бумага. Ну, как очень-очень тоненькая шкура. Я буду вам читать букварь и даже «Родную речь». Я лучше всех читаю, потому что у меня большая голова. И очень умная.

— Почему сам о себе так говоришь? Разве на хвастовство у вас нет запрета?

Омрыкай конфузливо потупился и чистосердечно признался:

— Есть и такой запрет. Меня учительница иногда за это стыдит...

— Как она стыдит? Смеется над тобой, бранные слова говорит?

— Нет, она добрая. Очень добрая... И еще я люблю, как пахнут ее руки... Сядет со мной за парту и показывает, как надо писать. Я пишу и чувствую, как пахнут ее руки. И волосы тоже.

— Чудно, очень все это чудно, — дивясь рассказу сына, задумчиво промолвил Майна-Воопка. — И чем же пахнут ее руки, волосы?

— Не смогу объяснить. Добротой, наверное, пахнут, чистотой...

— Вот уж никогда не слышал таких запахов... Ты что, похоже, уже заскучал по той жизни?

— Я и по своей жизни скучаю, по тундре, по своему стойбищу, и теперь по школе тоже...

— Уже? Так скоро скучаешь по школе?

— Немножко.

Майна-Воопка надолго умолк, размышляя над словами сына. Не произошло ли с ним что-нибудь нехорошее, пока он жил там, в стойбище Рыжебородого? На первый взгляд ничего такого не видно. Отказался от трубки? Так это совсем не беда, мудрые старики всегда предупреждают, чтобы не слишком рано и не слишком много баловали детей трубкой. Отказался закопать в снег свои вещи, которых никогда не было в очаге оленных людей? Да, это уже хуже. Неплохо было бы все-таки закопать их в приметном месте в снег, хотя бы до той поры, когда сын опять поедет на берег. Но надо ли его возвращать? Если он, Майна-Воопка, и пообещал, что с первым восхождением солнца привезет сына обратно, то все-таки не без оговорок: еще неизвестно, как посмотрит на это Нойгин.

[1] Пээчвак — годовалый бычок.

— Что, если я не пущу тебя на берег? — осторожно спросил Майна-Воопка, не оборачиваясь к сыну. — Ты чавчыв, тебе оленей надо пасти, на берегу тебе нечего делать.

Омрыкай молчал. Очень странно и долго молчал, только все громче и громче сопел.

— Ты плачешь, что ли? — наконец повернулся к сыну Майна-Воопка.

Омрыкай не плакал, но, кажется, готов был заплакать.

— Не пойму я тебя, — угрюмо и в то же время ласково промолвил Майна-Воопка. — Посмотрим, кто ты теперь — настоящий чавчыв или какой-то там анкалин [1].

Омрыкай и на этот раз промолчал, не зная, что ответить отцу: он не мыслил себя без тундры, без оленей, без родного стойбища, и было страшно предположить, что он больше никогда не сядет за парту в школе.

— Запрет на драку, на лень и на хвастовство — это мне нравится, — как бы только для самого себя сказал Майна-Воопка. И, желая подбодрить сынишку, перевел разговор на другое: — Я аркан тебе сделал, настоящий аркан! Посмотрю завтра, как ты поймаешь своего Чернохвостика.

И опять Омрыкай соскочил с нарты и побежал, чувствуя, как высоко в груди поднимается сердце. Наконец под лунным светом увиделись островерхие шатры-яранг. Стойбище стояло на высоком берегу реки. Кто-то еще долбил пешней лед, видимо, обновлял лунку, чтобы набрать воды.

— Не все еще спят. Кто-то, видно, собирается чай кипятить, — весело сказал Майна-Воопка. — Сейчас полный полог наберется гостей. Придут на тебя смотреть...

...Майна-Воопка не ошибся: не успел Омрыкай юркнуть в полог, как в шатре яранги послышались голоса соседей. Пэпэв, обняв сына, жадно вдыхала его запах, с досадой поглядывала на чоургын полога: хотя бы еще хоть мгновение помедлили гости, позволили ей побыть один на один с сыном.

— Да ты вырос, кажется, — приговаривала она, поглаживая стриженую голову Омрыкая. — И пахнуть стал иначе.

Гости в шатре выбивали снег из кухлянок, расспрашивали Майна-Воопку о новостях, явно намереваясь забраться в полог и самолично разглядеть мальчишку, побывавшего на культбазе.

— Говорят, они там совсем разучились своему разговору и мясо боятся взять в руки, нанизывают его на четырехзубое копье и суют себе в горло...

Омрыкай вслушался в голос соседки старухи Екки, не выдержал, высунул голову из-под чоургына и сделал свое первое опровержение нелепых слухов:

— Я не разучился нашему разговору. И мясо могу есть, как все. Увидите. Могу съесть целого оленя!

В шатре после некоторой паузы рассмеялись, а Омрыкай снова бросился к матери, прижался носом к ее лицу.

— Ты часто являлась мне во время сна. Однажды приснилось, что ты, как учительница, ходишь по классу, мелом пишешь на доске...

Пэпэв морщила лоб, стараясь догадаться, о чем говорит сын; сухонькая, хрупкая, она была похожа на испуганную птицу, готовую вот-вот взлететь.

— О, сколько ты непонятных слов сказал. Не знаю, к добру ли это... Злые духи падки к непонятным говорениям, не зря их таким способом скликает к себе черный шаман.

— Так я, по-твоему, черный шаман? — изумился Омрыкай и громко рассмеялся.

Пэпэв смотрела на сына и думала: не появилось ли в нем что-нибудь такое, чем он может привлечь внимание черного шамана? Если приедет Вапыскат, она от страху умрет. Однако Вапыскат так или иначе все равно приедет... Прижав руку к сердцу, Пэпэв поправила огонь светильника и подняла чоургын, приглашая гостей.

Сколько таил в себе Омрыкай загадок для всех этих встревоженных людей! Они тоже почувствовали его незнакомый запах, удивлялись непонятным словам, которые так легко слетали с языка мальчишки, будто он выговаривал их еще со дня рождения. А Омрыкай, взволнованный таким повышенным вниманием к себе, уплетал оленье мясо и то впадал в мальчишеское хвастовство, то вдруг умолкал, смущенный, порой сбитый с толку неожиданным вопросом.

— А верно ли, что там вас учат ходить вверх ногами? — спросил старик Кукэну, наклоняя к самому лицу Омрыкая плешивую голову. — Рыжебородый, говорят, учит вас этому...

— Да, я умею, как он, ходить вверх ногами, — радуясь случаю прихвастнуть, сказал Омрыкай, ловко отрезав у самых губ острым ножом очередной кусочек мяса.

— Ну и что в том толку — ходить вверх ногами? — допытывался Кукэну. — Ни побежать, ни выстрелить в зверя, руки все время заняты. И непонятно, для чего тогда человеку ноги?

---

[1] Анкалин — чукча-охотник, живущий на морском берегу, буквально — морской.

— Это так, для смеху. И чтобы ловкость свою показать.

— Ну, если для смеху... это еще можно понять, — успокоился Кукэну и снова принялся обрабатывать ребрышко оленя маленьким ножичком, не оставляя на кости ни крошки мяса.

— Еще такая смешная весть дошла, что белолицые шаманы не в бубен колотят, а в медный таз, — сказала старуха Екки.

— У русских нет шаманов, — ответил Омрыкай, поглядывая то на мать, то на отца, чтобы определить, довольны ли они его ответами. — У них есть врачи, что значит лечащие люди. Совсем обыкновенные. Нестрашные люди. Трубкой грудь прослушивают...

— Как это? — спросил молодой пастух Татро, сидевший в самом углу полога, как и полагалось гостю его лет. — Что за трубка? Из которой курят?

— Вот такой длины, — показал Омрыкай, вытягивая перед собой руки. — Один конец к груди, другой к уху врача. Приложит и слушает, как бьется сердце, не хрипит ли что внутри.

— Страшно?

— Да нет же, щекотно. Смех разбирает. Врач тоже смеется. Шлепнет меня по спине и говорит: здоров, как моржонок.

— Значит, не страшно, а щекотно, — все еще сомневалась Екки.

— У меня нет к ним страха. Нас там ничем не пугают. Я только один раз испугался. — Омрыкай поднял руку, потрогал себя под мышкой. — Положил мне врач вот сюда такую стеклянную палочку и говорит: прижми. Я думал, больно будет, да как закричу...

— Ну, а что дальше? Больно было? — На сей раз уже спросил сам отец, отставляя в сторону чашку с чаем.

— Да нет же, не больно. Просто я очень щекотки боюсь. Палочка эта гра-дус-ник называется. В самой середине ее что-то вверх и вниз ходит. Если у человека жар от простуды, то... — Омрыкай запнулся, не в силах объяснить, как действует градусник. — Если жар, то в палочке, в самой середке ее, что-то черное просыпается, вверх лезет...

Екки пробормотала невнятное говорение, полагая, что здесь совершенно необходимо заклинание. А мать осторожно подняла руку Омрыкая, заглянула под мышку и спросила тревожно:

— Боли не чувствуешь?

— Да я силу, только силу чувствую! — воскликнул Омрыкай и согнул руку в локте, демонстрируя мощь своих мускулов. — Вот пощупайте, будто железо!

Отец пощупал и спросил с мягкой насмешкой:

— Как же быть с запретом на хвастовство? Или думаешь, что дома не обязателен этот запрет?

Омрыкай засмущался, вяло опустил руку. Гости не поняли, о чем идет речь, а когда Майна-Воопка объяснил, все разом зашумели.

— На чрезмерный аппетит у них нет запрета? — шутливо спросил Кукэну, выбирая кусок мяса получше. — Мне бы такой запрет не повредил: зубов нет, однако все равно втолкал в старое брюхо пол-оленя...

— На аппетит запрета нет, — воспользовался поводом опять привлечь к себе внимание Омрыкай. — Я гречку люблю, вот такую миску съедаю...

— Что такое гречка? — спросила Екки. — Похожа ли она на оленье мясо?

Омрыкай подумал-подумал и, чтобы не запутаться в ответе на столь неожиданный вопрос, махнул рукой.

— Можно сказать, похожа, если там много масла. Главное, что вселяет сытость! — и постучал себя ладонью по животу.

— Да, живот у тебя, как хороший бубен, — опять потянуло на шутку Кукэну. — Пришел бы ко мне завтра. Уж очень досаждает дух какой-то. Надо бы изгнать, а мой бубен прорвался...

— Не слишком ли ты расшутился? — Екки замахнулась костлявым кулачком на мужа. — От старости весь ум потерял...

— К тебе, видать, он к старости только-только пришел, — отыгрался Кукэну. — Всю жизнь без ума прожила, теперь вот помирать — и ум тут как тут, наконец явился...

Омрыкаю стало немножко обидно, что о нем на какое-то время забыли. Конечно, он смог бы напомнить о себе так, что все от изумления рты раскрыли бы, стоило только ему вытащить из сумки тетради и учебники; но был наказ отца пока от этого воздержаться.

— Дай-ка и я посмотрю, что там у тебя осталось под мышкой после этой стеклянной палочки, — посерьезнев, сказал Кукэну. — Что-то мне в память она запала...

Омрыкай с удовольствием поднял руку, радуясь, что опять оказался в центре внимания. Старик осторожно дотронулся до его тела, велел повернуться боком к светильнику, попросил увеличить пламя. Пэпэв дрожащей рукой поправила тонкой палочкой фитиль из травы в плошке с нерпичьим жиром. Все, кто был в пологе, в величайшем напряжении ждали, что скажет старик. И тот наконец изрек:

— Боюсь, что у тебя когда-нибудь здесь женские груди вырастут, как у жены земляного духа Ивмэнтуна.

И снова вскрикнула Пэпэв, прикладывая сухонькие пальцы к горестно перекошенному рту, а Омрыкай полез рукой под мышку: ему стало страшно.

Кукэну вдруг опять захохотал, и все вспомнили, что он известный шутник; вздох облегчения едва ли не заколебал пламя в светильнике. Смеялись гости и хозяева яранги, смеялись до слез, чувствуя, как тревога отпускает сердце. Рассмеялся позже всех и Омрыкай, и это вызвало новый взрыв хохота.

Переполненный впечатлениями, намерзшийся за трое суток в пути, усталый, но необычайно счастливый, Омрыкай улегся спать, едва ушли гости. О, как было сладко спать в родном очаге! Никогда не казались такими мягкими и ласковыми оленьи шкуры, никогда так не смотрели на него переполненные любовью глаза матери. Вот он засыпает, но чувствует, что мать смотрит на него. Склонилась над ним и что-то шепчет и шепчет, может, рассказывает, как тосковала о нем, а может, произносит заклинания, оберегая сына от злых духов. Как жаль, что сон не позволяет разлепить веки.

А наутро отец повез Омрыкая в стадо. Омрыкай сел на юрту позади отца. Олени тронулись медленно, коренной чуть присел на задние ноги: боялся удара по крупу свистящим тинэ[1], однако наездник был расчетлив, тинэ пустил в ход лишь тогда, когда надо было вселить в упряжку истинное безумие, — не то олени бегут, не то мчится снежный вихрь. Подскакивает нарта на кочках и комьях снега, вывороченного прошедшим оленьим стадом. Свистит тинэ в руках отчаянного наездника. Ух, как захватывает дыхание! Взметается из-под копыт оленей снег, забивает рот, глаза. Омрыкай изо всех сил держится за ремень отца, боясь вылететь из нарты. Тяжко дышат олени, высунув горячие, влажные языки, Омрыкай знает: таким образом потеют они; как бы ни мчался олень — шерсть его остается сухой, иначе не выжил бы он в лютые морозы.

Упряжка с ходу влетела на склон горы, по которому разбрелось стадо. Где же Чернохвостик? Омрыкай соскочил с нарты, суматошно отряхнул себя от снега, жадно оглядел стадо. Спросил нетерпеливо:

— Где Чернохвостик?!

— Ищи! — с усмешкой ответил отец. — Смотри, не спутай зайца с оленем.

Омрыкай напряженно улыбнулся, стараясь показать, что шутка отца его не обижает. Собрав аркан для броска, Омрыкай вкрадчиво пошел по стаду; олени косились на него, чуть отбегали в сторону и снова принимались разгребать снег, погружая в снежные ямы заиндевелые морды.

Омрыкай прошел через все стадо вдоль склона горы, поднялся вверх, снова опустился и вдруг замер: у каменистого выступа лежал рядом с матерью его Чернохвостик.

Все ближе подкрадывался мальчик к своему любимцу. Оленихе это не понравилось, она легко встала, наклонила вниз голову, подозрительно разглядывая маленького человека. Вскочил и Чернохвостик, в точности повторив все движения матери. Как он вырос! Ножки тоненькие, а колени узловатые и копыта крупные: быть ему вожаком стада. Вот только жаль, что родился он существом иного вида, таких и люди не милуют, стараясь ублажить духов, и волки почему-то режут чаще всего. Но ничего, Чернохвостик сумеет себя защитить от любого волка, а отец не заколет его, он и сам полюбил этого олененка.

Важенка не выдержала опасной близости пастуха, отпрянула в сторону. Отпрянул и олененок, показав черненький хвостик. Но тут же повернулся, разглядывая маленького пастуха так, будто в его голове пробуждалось какое-то смутное воспоминание.

— Что, узнаешь? — тихо, боясь вспугнуть олененка, спросил Омрыкай.

Чернохвостик пошевелил оттопыренными ушами, совсем по-детски склонил голову, как бы желая еще раз услышать голос маленького человека, который, видно, сам был среди людей их кэюкаем. Хоркнув, Чернохвостик покосился на мать, верно бы спрашивая у нее разрешения поближе познакомиться с маленьким человеком, и, не в силах одолеть любопытство, пошел к нему, вытягивая заиндевелую морду. Однако олениха, которая до сих пор делала вид, что пришелец ей безразличен, сердито фыркнула, и Чернохвостик сделал стремительный скачок в сторону, отбежал на порядочное расстояние и принялся пастись, проявляя к Омрыкаю обиднейшее равнодушие.

Омрыкай долго бродил вокруг олененка, намереваясь набросить на него аркан, но уж очень не хотелось ему портить отношения с Чернохвостиком: аркан есть аркан, он всегда пугает оленя. Отстегнув от ремня ачульгин[1] из тюленьей шкуры, Омрыкай, как это делают взрослые пастухи, помочился в него, протянул в сторону олененка: он знал, как мучает оленей со-

[1] Тинэ — погоныч. Прут с костяным набалдашником на конце.

[1] Ачульгин — горшок для мочи.

ляное голодание. Приходилось Омрыкаю видеть не раз, как лизали олени солончаки в тундре, как устремлялись к снежным комьям, на которые выливается по ночам моча из ачульгинов, как обгладывали скинутые рога. Случается, что олени съедают леммингов, чуя соль в их крови, а важенки обгрызают рожки собственных телят.

Все ближе подходил Омрыкай к олененку, неся в вытянутой руке ачульгин, но тот еще явно не понимал, в чем суть великодушного жеста маленького пастуха; зато взрослые олени, забыв всякую осторожность, бросились к человеку. Омрыкай отгонял оленей, настойчиво пытаясь сблизиться с Чернохвостиком. В конце концов ачульгин опустошила мать олененка. Пристегнув ачульгин опять к поясу, Омрыкай пришел к выводу, что Чернохвостика надо поучить, и ничего особенного не случится, если он испытает, что такое аркан в руках настоящего чавчыв.

Это было для Омрыкая удивительное мгновение, когда он чуть занес руку с арканом назад, потом взмахнул над головой. Он знал, чувствовал спиной, что за ним пристально наблюдает отец, казалось, видел затылком, как он то улыбается, то хмурится, оценивая каждый его шаг, каждый жест. Как это было бы ужасно, если бы Омрыкай промахнулся. К тому же надо было метнуть аркан так, чтобы петля не пришлась на самую шею олененка, иначе он задохнется. Однако Омрыкай превзошел самого себя — аркан обхватил только крошечные рожки Чернохвостика. Вздыбился испуганный олененок, шарахнулся в одну, в другую сторону. Забегала, тревожно хоркая, важенка.

Омрыкай тянул к себе Чернохвостика, напряженно перебирая аркан. В раскрасневшемся лице его были упрямство и восторг истинного чавчыв. Вот уже совсем рядом Чернохвостик, упирается, мечется, порой падает на бок. Не обломать бы ему рожки! Наконец Чернохвостик уже совсем рядом. О, какая белая и мягкая у него шерстка! Хорошо бы осмотреть его копыта, не поранились ли под ними подушечки, но для этого Чернохвостика надо повалить на бок. Изловчился Омрыкай, обхватил олененка, повалил на бок. Дрожит олененок, хоркает жалобно, и важенка уже совсем близко, порой обдает пастушка яростным дыханием. Где же отец? Не заругает ли? А Чернохвостик, лежа на боку, перебирал ножками, и не было никакой возможности заглянуть ему под копытца.

— Ну что, нашел своего Чернохвостика? — послышался сверху голос отца.

Омрыкай смятенно поднял лицо: не оскандалился ли, не навлек ли гнев отца? Но нет, глаза у него добрые, очень добрые — значит, не сердится.

— А что бы ты делал, если бы аркан захлестнулся на шее? Задушил бы своего любимца?

Как понять эти слова отца, неужели в них упрек?

— Ну, ну, не волнуйся. Я тобой доволен, очень доволен, ты настоящий чавчыв, — приговаривает отец, опускаясь на корточки. — Давай посмотрим на его копытца. Я придержу, а ты посмотри.

Едва ли был в жизни Омрыкая более счастливый миг, чем этот: отец назвал его настоящим чавчыв! Не чувствуя холода, Омрыкай ощупал под копытцами подушечки, заросшие жёсткой шерстью, несмело сказал:

— Кажется, нет болячек.

— Кажется или в самом деле нет?

— Нет, — уже твердо сказал Омрыкай.

Отец сам внимательно осмотрел копытца олененка, погладил его по шее, почесал за ушами и сказал:

— Здоров твой олень, хоть запрягай в нарту. Но до той поры еще далеко. Думаю, что ты сам обучишь его ходить в нарте.

Конечно же, это не простые слова: значит, отец будет растить Чернохвостика, не заколет его в жертву духам.

— Я буду учить его! Я лучшие награды заберу с ним на гонках! — воскликнул Омрыкай, расслабляя на рожках олененка петлю аркана, чтобы отпустить его на волю.

— Забыл запрет на хвастовство? — довольно строго спросил отец, но тут же рассмеялся.

Омрыкай смущенно улыбнулся, погладил олененка, почесал за ухом, как это делал отец, и снял с рожек аркан. Ох, как помчался прочь олененок, почувствовав свободу. Словно безумный рыскал по стаду, отыскивая мать, а когда нашел, потерся о ее ноги, уткнулся мордочкой в гриву под шеей; было похоже, что он хотел пожаловаться, какой ужас перенес: ведь человек впервые набросил на него аркан.

Не было дня, чтобы в ярангу Майна-Воопки не являлись гости из самых дальних стойбищ: многим хотелось посмотреть на Омрыкая, которому черный шаман предрек смерть, а белый — жизнь. Однажды поздним вечером приехал Пойгин. Этому гостю хозяева яранги особенно обрадовались. Пойгин молча съел немного оленьего мяса и долго пил чай с видом угрюмым и отрешенным. На Омрыкая он, казалось, даже не смотрел, разговаривая с Майна-Воопкой о погоде, о пастбищах, о волках, по-

вадившихся в стадо. Омрыкай, предоставленный самому себе, перелистывал тетради. Каждая страничка навевала воспоминания. Как там сейчас живут его друзья? Помнит ли о нем Надежда Сергеевна? Омрыкаю виделось в памяти, как ярко светятся окна школы, других домов культбазы; спокойные эти огни манили его, будили в нем тоску. Странно, когда был там, точно так же видел в памяти огонь костра, дымок над ярангой.

Пойгин, наконец обратив на него внимание, осторожно взял из рук Омрыкая тетрадь, бережно перелистнул страницу, другую, спросил:

— Не забывается ли твое умение понимать немоговорящие вести?

— Нет, я все, что постиг, запомнил навсегда!

Пойгина поразило, каким тоном это сказал мальчик: так произносят клятву.

— Надо ли помнить это? — задал он еще один вопрос, листая тетрадь и поглядывая искоса на Омрыкая.

— Мне снится, как я читаю...

— А олени снятся?

— Каждую ночь снились, когда жил в школе.

— Я не буду у тебя спрашивать, что для тебя важнее...

— Я сам не знаю, что важнее... Может — и то, и это, одинаково...

Пойгин внимательно посмотрел на Майна-Воопку, неопределенно пожал плечами.

— Вот и пойми... хорошо это или плохо...

— Я знаю, что сын мой настоящий чавчыв, — спокойно ответил Майна-Воопка. — Я это понял, когда мы были вместе в стаде...

Пойгин положил руку на шею Омрыкая, привлек его к себе:

— Уж очень ты мне нравишься, Маленький силач. Не зря тебе дали такое имя. Скоро сможешь унести на шее оленя... — И вдруг, казалось без всякой связи, спросил: — Кто самый лучший человек в стойбище Рыжебородого?

— Надежда Сергеевна!

— Кто такая? Жена Рыжебородого?

— Да, жена Артема Петровича.

— Почему ты называешь Рыжебородого двумя именами?

— У русских даже три имени. Артем, Петрович да еще Медведев.

— Зачем же столько имен сразу? — больше обращаясь к самому себе, спросил Пойгин.

— Наверно, чтобы сбить с толку злых духов, — робко высказала свое предположение Пэпэв, стараясь вовремя подливать чай дорогому гостю.

Пойгин опять положил руку на шею Омрыкая:

— Ты как думаешь?

— Артем Петрович так объяснял, — Омрыкай с важным видом помолчал, собираясь с мыслями, — он сказал, что каждому человеку надо все время помнить, кто был его отец, и напоминать об этом другим людям. Потому «Артем Петрович» надо понимать так... Артем сын Петра. Но у родителей и детей должно быть еще одно общее имя — фамилия называется. Такой у них обычай.

— Может, это и неплохой обычай. Хорошо, когда сын или дочь всегда помнят отца, — сказал Майна-Воопка.

— Может быть, может быть, — вяло согласился Пойгин, уперев неподвижный взгляд в огонь светильника.

— А мать... разве мать не должны все время помнить дети? — с некоторым недоумением спросила Пэпэв, заплетая кончик своих тяжелых черных кос.

— Не будем думать о странных обычаях русских, — раздраженно махнул рукой Пойгин. — Мы помним и матерей, и отцов без упоминания их имен. Я и деда помню. Хороший был человек. Очень хороший. Сумел приручить волка. А это возможно лишь при самом добром сердце...

— Отогнал бы ты заклинаниями волков от моего стада, — попросил Майна-Воопка, разглядывая лицо гостя с затаенной озадаченностью.

Пойгин почувствовал его взгляд, досадливо изломал брови:

— Я должен убить росомаху. Вчера гнался за ней, но она ушла. Отбила от стада важенку Выльпы. У него и так всего четыре оленя. И надо же было выбрать именно его важенку. Гналась, проклятая, пока важенка не выкинула плод. Сожрала плод и важенку едва не загрызла. Такая уж у росомах подлая повадка.

Пэпэв закрыла руками лицо, простонала:

— О, какое несчастье.

В пологе долго длилось молчание: росомаха внушает отвращение и суеверный страх, потому что покровительствует земляному духу — Ивмэнтуну; своей похотливостью она превосходит даже жен земляных духов, часто вступает в сожительство с самым злым из них и потому рожает вонючих детей. Способность росомахи помечать землю отвратительными и очень устойчивыми запахами на тех просторах, где должна властвовать только она, вызывает чувство гадливости. И если надо кого-нибудь очень унизить за нечистоплотность, за злой нрав, за склонность к клевете и обману — называют его росомахой.

— Несчастный Выльпа, все беды склонны настигать его, — продолжала сокрушаться Пэ-

пэв, не отрывая рук от лица и мерно покачиваясь. — Дочь его, говорят, все так и лежит на холме... звери не тронули ее. О, горе, горе, духи недовольны... требуют новую жертву...

— Рагтына уже ушла,— мрачно сказал Пойгин, по-прежнему не отрывая взгляда от пламени светильника. — Ушла к верхним людям. Звери оставили одни косточки... Это были волки... Я понял по следам. Да, волки, но не росомаха.

Омрыкай горестно молчал. Пойгин, подобрев лицом, провел по его голове рукой и спросил:

— Боялся ли ты русских шаманов?

— У них не шаманы... врачи называются. Я их не боялся. Они очень стараются, чтобы не было больно. У Тотыка болячки вот здесь, между пальцами были... Врачи мазью мазали, белыми полосками тоненькой материи обматывали. Бинт называется. И прошли болячки. Совсем прошли.

Пойгин близко наклонил лицо к Омрыкаю, глубоко заглядывая в глаза мальчика, спросил совсем тихо:

— А слышал ли кто из вас, как кричала Рагтына, когда ее резали русские шаманы?

Омрыкай испуганно отшатнулся, потом отрицательно покачал головой.

— Нет, никто такое не слышал. Только Ятчоль болтал, будто слышал даже в своей яранге, как кричала Рагтына.

— Ну, если Ятчоль болтал, значит, неправда,— глубоко передохнув, с облегчением сказал Пойгин.

— Антон поклялся мне жизнью матери, что Рагтыну, когда она была живой... не резали. Так и сказал... пусть умрет моя мать... если я говорю неправду.

— Сын Рыжебородого, что ли? — спросил Пойгин и тут же добавил, не дожидаясь ответа: — Что ж, может, он был просто не сведущ. А может, русским легко давать такие клятвы.

— Почему говоришь, как Вапыскат? — не глядя в глаза Пойгину, спросил Майна-Воопка.

Пойгин болезненно поморщился:

— Да, ты прав. Точно так говорит Вапыскат.

— Значит ли это, что вы теперь думаете одинаково?

Пойгин промолчал. Еще раз полистав тетрадь Омрыкая, приложил ухо к его груди, долго слушал:

— Хорошее у тебя сердце. Будто пешеход, ушедший в дальний путь. Ровно бьется. Будешь долго жить. Долго...

Пэпэв счастливо заулыбалась, выхватила из деревянного блюда олений язык, протянула гостю:

— Съешь еще. Ты очень желанный гость. Ты всегда с хорошими вестями. Мы хотели бы видеть тебя каждый день... Надеемся, заночуешь в нашем очаге.

— Нет, я поеду в стойбище Эттыкая. Меня ждет Кайти. Последнее время она все дни в страхе. — Пойгин медленно повернулся к Майна-Воопке, тронул по-дружески его плечо. — Я знаю, как ты ненавидишь черного шамана. Я тоже его ненавижу. Но неясно мне, что будет со мной, когда взойдет солнце. Может, главные люди тундры назовут меня своим другом, а может, убьют, если пощажу Рыжебородого.

Омрыкай со страхом и недоумением уставился на Пойгина:

— Почему ты его должен не щадить?

— Это не для детей разговор,— сказал Пойгин и опять болезненно поморщился. — Ты, я вижу, чтишь Рыжебородого...

— Да. Его все чтят...

— Все? А вот я... На меня почему-то нашло помрачение... Мне мало головой понять, Омрыкай, что ты прав. Мне в это надо душой поверить... Ты мальчик еще, и тебе...

Не досказав, Пойгин умолк, настолько погружаясь в себя, что, кажется, даже забыл, где находится.

— Ну, я поехал,— наконец очнулся он. — Не провожайте меня. — Повернулся к Майна-Воопке. — Я буду к тебе приезжать. Только ты можешь дать мне достойный совет...

Пойгин оделся и покинул ярангу. На вторые сутки с самого утра приехали новые гости, разглядывали Омрыкая и мучили его расспросами. Мальчик удрученно спросил у матери:

— Что они едут смотреть на меня, будто я существо иного вида?

— Не сердись,— просила мать, стараясь скрыть, насколько сжигала ее тревога за сына. — Разговаривай с гостями, как советовал отец... Рассказывай только достоверные вести. И не будь болтуном, ничего не выдумывай...

— На болтунов у нас там тоже запрет.

— Нужный, очень нужный запрет. Помни о нем.

Омрыкай садился на шкуры у костра в круг гостей, сначала отвечал на вопросы степенно, с важным видом, как взрослый, но детская непоседливость брала свое, и он начинал скучать, забываться, все чаще поглядывая на выход из яранги: там ждали приятели, которых он обучал грамоте. За стойбищем, на обширной горной террасе, где снег еще не был ископычен оленьим стадом, детишки учились писать свои имена. И не только дети, но и молодые парни и даже вполне солидные отцы семейств просили Омрыкая начертать таинственные знаки, обозначающие их имена, и тот старался как мог.

Какая это была радость — мчаться на горную террасу, наконец вырвавшись из плена гостей. Но Омрыкая снова и снова зазывали в ярангу, задавали один вопрос нелепее другого.

— Верно ли, что там пищу варят не на костре, а на каком-то странном огне, втиснутом в каменное вместилище, и потому она совершенно не пахнет дымом? Это же, наверно, в горло не лезет...

— Я забыл, пахнет ли там пища дымом. Но я был всегда сыт и очень любил картошку.

— Что такое картошка?

— Растет в земле, как корни травы или кустов, только она круглая, будто мяч...

— Ой-ой! Не вонючий ли это помет Ивмэнтуна?

— Ну какой помет, что, у меня нюха нет, что ли?

— Ты не сердись, не сердись, — успокаивал мальчика старик Кукэну, не пропускавший ни одного случая потолковать с дальними гостями. — Сам говорил, что там на злость наложен запрет...

— Ка кумэй! Верно ли это, что на злость запрет?

— Да, запрет, — терпеливо подтверждал Омрыкай, прилежно внимая совету старика.

— Слыхал я, что как только ты пришел в стадо, в оленей страшный испуг вселился. Слух пошел, что это от дурного запаха пришельцев, которым ты насквозь пропитался, — сказал Аляек [1], мрачный мужчина с костяными серьгами в ушах — двоюродный брат Вапыската.

Омрыкай изумленно посмотрел на мать, жалея, что отец ушел в стадо: уж он-то рассказал бы, как было все на самом деле и почему он назвал сына настоящим чавчыв. Пэпэв, кинув в сторону Аляека укоризненный взгляд, обиженно поджала губы.

— Может, чьи-нибудь олени и взбесились, а наши как паслись, так и пасутся.

— Ну что ж, еще взбесятся, — загадочно предрек Аляек, разглядывая хозяйку яранги сонно сощуренными глазами.

Старик Кукэну снял малахай, почесал кончиком трубки лысину, весело воскликнул:

— Это диво просто, какая память у тебя, Аляек! Как же ты забыл, что именно от твоего запаха подох на самой высокой горе кытэпальгин [2] и прямо под ноги тебе свалился? Да, еще одну весть чуть было не запамятовал. Ах, какая у меня голова, все забывает, ну просто болотная кочка. Слух дошел, что от твоего запаха до смерти одурела даже вонючая росомаха! Не зря же ты так на всю жизнь и остался Аляеком...

— Я не могу сидеть у очага, где меня оскорбляют! — воскликнул Аляек и, плюнув в костер, пошел прочь из яранги. У входа обернулся, ткнул пальцем в сторону Омрыкая. — Жить ему осталось недолго, совсем недолго! И олени ваши взбесятся. Еще дойдет до них мерзопакостный запах пришельцев.

Омрыкай уткнулся в колени матери и заплакал. Кукэну подсел к мальчику, положил руку на его вздрагивающую спину.

— Ты, кажется, хохочешь? Ну, конечно, хохот трясет тебя, как олени нарту на кочках. Послушай, о чем я хочу тебя попросить...

Омрыкай поднял заплаканное лицо, заулыбался: он любил этого старика, шутки которого, как люди уверяли, могли заставить засмеяться и камень.

— Я же толковал вам, что парень смеется. А мне тут нашептывали, что он плачет. Чтобы Омрыкай и вдруг заплакал? Если и появились слезы у него на глазах, то это от смеха.

Омрыкай быстро вытер кулачками слезы и вправду засмеялся. Однако старик, воодушевляясь, подбирался уже к новой шутке:

— О, настоящий чавчыв смеется даже тогда, когда сова приносит ему весть, что из ее яиц вылупились его дети. Услышал бы кто другой такую весть, как я услышал в молодости, — рассудка лишился бы. А я остался при своем уме, только уж очень смеялся, челюсти едва с места не сдвинул.

Гости, а за ними Омрыкай расхохотались. А Кукэну, радуясь, что прогнал тучу страха, наплывшую после гнусных слов Аляека, продолжал шутить.

— Так вот, послушай, о чем попрошу. Научи мою старуху понимать немоговорящие вести. Память у нее от старости совсем оскудела, не помнит имя мое. Но не беда, внук мой нашел выход. Ты научил его чертить знаки, обозначающие мое имя, подарил ему палочку, след оставляющую. Верно ли это?

— Да, верно, — охотно подтвердил Омрыкай, еще не понимая, к чему клонит старик.

— Слышали, гости, что сказал Омрыкай? Так вот, имейте это в виду. Как вам известно, у меня вполне достойное имя, не какой-нибудь там Аляек — Кукэну! [1] — старик постучал по котлу, стоявшему у костра. — Вот от этой посудины происходит мое достойное имя. Кто может без котла обойтись? Так и без меня вы ни за что не обойдетесь. Но вот надо же, старуха забывает, как меня звать. Вчера обозвала плешивым болваном. Кто из вас слышал, чтобы когда-нибудь у меня было такое странное имя? Выходит, никто не слышал. А старуха моя так

---

[1] Аляек — по-детски пачкающийся.

[2] Кытэпальгин — горный баран.

[1] Кукэну — котел.

и старается сменить мое имя. Но у нее ничего не получится. Я надежно предостерегся. Внук помог. Настоящее мое имя теперь обозначено тайными знаками вот здесь! — Старик пошлепал себя по голове и наклонил ее к Омрыкаю. — Смотри и произнеси вслух, что начертил там мой внук своей палочкой, оставляющей след. Особенно хорошо оставляет след, если послюнишь ее...

Омрыкай встал на колени, бережно прикоснулся руками к голове старика и увидел, что чуть пониже макушки было написано: «Кукэну». Набрав полную грудь воздуха, мальчик прочитал во всеобщей тишине громко и торжественно: «Кукэну».

— Ка кумэй! — изумились гости.

— Вот так! Что я вам говорил? — радовался старик, пошлепывая себя ладонью по лысине. — Если бы умела старуха эти знаки понимать — никогда меня плешивым болваном уже не назвала бы. Кукэну я. Вот тут так и обозначено! — И опять пошлепал себя по лысине.

Гости вставали один за другим, разглядывая знаки на лысине старика, кто смеялся, а кто, не понимая шутки, высказывал мрачное предположение, что пришельцы, возможно, скоро начнут помечать подобными знаками всех оленных людей.

— Будут! — сделав страшные глаза, подтвердил Кукэну. — Не всех, а кто не способен понимать шутку. У тебя нет такой способности. Зато волос на голове, как травы на кочке. Придется тут вот каленым железом выжигать, как оленя тавром клеймить. — И старик пошлепал себя, вызвав всеобщий хохот, чуть пониже спины.

На следующие сутки опять прибыли гости. На этот раз заявился и Вапыскат. Молча вошел он в ярангу Майна-Воопки, внимательно огляделся. Пэпэв, меняясь в лице, бросилась доставать шкуру белого оленя, предназначенную для самого важного гостя. Майна-Воопка дал ей знак, чтобы не вытаскивала белую шкуру. Черный шаман потоптался у костра и, не дождавшись особого приглашения сесть на почетное место, присел на корточки у самого входа. Пэпэв поставила перед ним деревянную дощечку с чашкой чая. Руки ее так дрожали, что чай расплескался.

Майна-Воопка встал и сказал:

— Я хочу, чтобы гости знали. Мой сын уже восемь суток живет дома. Он здоров. В стаде он все понимает, как настоящий чавчыв. Рассудок его меня восхищает. Мы уходим с сыном в стадо... Я сказал все.

Вапыскат слушал хозяина яранги, часто мигая красными веками и крепко закусывая мундштук трубки.

— В стадо твой сын не уйдет, — наконец изрек он. — Мне надо как следует на него посмотреть, чтобы понять... смогу ли отвратить от него то, что предрекла похоронная нарта?

— Я знаю предречение Пойгина, — с вызовом сказал Майна-Воопка и, взяв сына за руку, вышел из яранги.

Пэпэв было бросилась к выходу, но остановилась против шамана, медленно опустилась на корточки и тихо сказала с видом беспредельной покорности:

— Отврати. Я знаю, ты можешь быть добрым. Отврати...

— Я не всесилен. И ничего не смогу, если не поможете вы — его отец и мать...

— Я, я помогу! Только отврати...

— Попытаюсь... Я приеду через день, через два. Будешь ли поступать так, как я велю?

Пэпэв некоторое время колебалась, что сказать в ответ, но тревога за сына заставила ее в знак согласия низко склонить голову.

— Я не ослушаюсь, только отврати...

17

Несколько дней гости из других стойбищ не появлялись. И Майна-Воопка совсем было уже успокоился, как вдруг кто-то обстрелял стадо. Была темная ночь, луна ныряла, как рыба, в темные рваные тучи. Стадо мирно паслось под присмотром молодого пастуха Татро. Несмотря на темноту, Татро увлеченно писал свое имя на снегу. Усвоил он от Омрыкая начертания еще нескольких слов, и для него было огромной радостью вычерчивать их походной палкой, дивясь тайному смыслу каждой буквы, которые называл он для себя магическими знаками. Да, он считал себя причастным к настоящему таинству, и потому, когда разглядывал свои письмена на снегу, в круглом лице его с заиндевелым пушком под носом был восторг и еще чуточку жути.

Мерно позванивал колокольчик на шее одного из быков, стучали о твердь стылой тундры копыта оленей, сухо потрескивали рога. Все было обычно, кроме таинственных знаков, начертанных на снегу, которые в своем сочетании немо говорили, что тут имеется в виду именно Татро, а не кто-нибудь иной.

И вдруг откуда-то с вершины горы раздались выстрелы. Их было всего четыре или пять. И этого было достаточно, чтобы перепуганные олени бросились в разные стороны. Стадо разбилось на несколько групп, и Татро видел, как каждая из них стремительно убегала в ночь,

Одну из групп в полсотни оленей он сумел остановить и успокоить. Но где же остальные? Кто стрелял? Как быть? Ныряла скользкой неуловимой рыбой луна, пробивая тучи, выли где-то далеко-далеко волки, и доносился едва уловимый топот копыт разрозненного стада.

Что же делать? Гнать оставшихся оленей к ярангам, оповещать людей о беде? Но пока пригонишь этих, далеко уйдут остальные. Надо немедленно поднять на ноги всех мужчин и женщин! И Татро побежал к стойбищу.

Пять суток чавчыват стойбища Майна-Воопки собирали оленей. Пойгин, взбешенный тем, что кто-то метнул черный аркан над головой его друга, ездил с Майна-Воопкой по тундре, стараясь обнаружить того, кого он пока без имени называл Скверным. Эттыкай уже привык к тому,что Пойгин почти не пас его оленей, и все удивлялись, почему он его терпит. А тот терпел его скрепя сердце. Да, он с превеликим удовольствием дал бы волю своему гневу, но он был умный и хитрый человек, он умел управлять своими взволнованными чувствами, как управляет хороший наездник распалившимися в беге оленями. За поступками Пойгина он видел не только его непокорный характер, но и то, что придавало ему силу и смелость. Конечно же, ветер перемен, который дул с моря, наполнял паруса байдары этого дерзкого анкалина. Может, он сам пока меньше всего думал об этом ветре, однако байдара его мчалась именно туда, куда поворачивались главные события жизни, — и это надо учитывать. Кто знает, может, еще наступит время, когда именно у Пойгина придется искать защиты: «Не я ли принял тебя в свой очаг, не я ли остепенял тех, кто таил к тебе враждебность?» Ненависть ненавистью, а рассудок рассудком, нельзя его ослеплять.

А Пойгин помогал Майна-Воопке собирать стадо, и снова ему казалось, что он идет по следам росомахи. Оленей нашли не всех. Нескольких важенок порвали волки, несколько десятков ушли в горы, наверное, прибились к диким оленям.

Однажды, глядя с горы на стадо Рырки, Пойгин сказал загадочно:

— Ты не чувствуешь запаха паленой шерсти и горелого мяса?

Майна-Воопка повел носом, принюхиваясь:

— Чувствую.

— Я тоже чувствую. Надо спуститься в стадо Рырки. Ты же знаешь, как любит он метить своим клеймом чужих оленей. И не один он. Вести дошли... В Пильгинской тундре люди из Певека отобрали всех тайно клейменных оленей и отдали прежним хозяевам... Ты же знаешь, кто тайно клеймит чужих оленей. Вот такие, как Рырка, в стаде которого можно легко спрятать всех до одного твоих оленей.

— Что за люди из Певека? — спросил Майна-Воопка, жадно вглядываясь в стадо Рырки.

— Не знаю. Называют их Райсовет.

Пойгин оказался прав: Майна-Воопка обнаружил в стаде Рырки семнадцать своих оленей, на крупах которых еще не успело зажить новое клеймо. Рырка встретил Майна-Воопку громким смехом:

— Твои, твои олени! — откровенно признался он. — Перестарались мои пастухи. Можешь отстегать любого арканом...

— А если тебя? — спросил Пойгин, играя арканом.

— Имешь ли ты право, нищий анкалин, держать в руках аркан? Ты же и метнуть его как следует не умеешь.

Пойгин взмахнул арканом и огромный чимнэ врылся копытами в снег, низко нагнув голову. Медленно подтаскивал Пойгин заарканенного оленя, а когда подтащил, Рырка выхватил нож, ударил чимнэ в сердце. Захрапел олень, падая на колени, а затем заваливаясь на правый бок. Пойгин смотрел, как тускнеют его глаза, и чувство вины и острой жалости мучило его.

— Забери, анкалин, этого оленя. Можешь сожрать его, мне совсем не жалко...

— Жри его сам. Я погоню с Майна-Воопкой его оленей, которых ты украл. Придет время, и мы еще посмотрим, сколько в твоем стаде уворованных оленей!

— Кто это «мы»?

— Жди. Узнаешь...

Когда стадо, распуганное чьими-то выстрелами, разбежалось, Омрыкай боялся, что его олененка настигнут волки. Но все обошлось — Чернохвостик жив! Теперь Омрыкай наравне со взрослыми выходил в ночь караулить стадо. Кукэну, несмотря на свою старость, тоже был вместе со всеми. Правда, стадо по распоряжению Майна-Воопки на сей раз паслось возле самого стойбища.

Всех волновало одно: кто стрелял? Кукэну казалось, что это сделал Аляек.

— Ищите Аляека, как росомаху, по его вонючему следу, — напутствовал мужчин Кукэну.

Однажды утром в стойбище приехал Вапыскат и сразу же направился в ярангу Майна-Воопки. Пэпэв почувствовала, как обмерло ее сердце: она и ждала появления черного шамана, и боялась, что это случится. О том, что Вапыскат собирался приехать, она ничего не сказала мужу. давнишняя вражда между ними всегда

пугала ее, особенно теперь, когда тревога за сына не давала ей жить. Пэпэв казалось, что, находясь во вражде с ее мужем, Вапыскат может быть особенно опасным, а значит, надо его задобрить. Если не может сделать это муж, то, стало быть, надо ей самой постараться. Едва Вапыскат вошел в ярангу, как она вытащила белую шкуру, постелила у костра.

— Где муж? — спросил гость, усаживаясь основательно, как бы подчеркивая тем самым, что он отлично помнит, как несколько дней назад ему пришлось сидеть у самого входа.

— Ищет оленей. Кто-то стрелял две ночи назад по стаду.

— Стрелял, говоришь? Кто пас оленей в ту ночь?

— Татро.

— И только он один?

— Да, только он.

Черный шаман попыхтел трубкой, докуривая до конца, выбил ее о носок торбаза, не спеша прицепил к поясу, сказал сердито:

— Знаю Татро. Молодой, глупый. Говорят, больше всех тут чертит поганые знаки на снегу. Сынок твой научил...

— Прошу, не сердись на моего Омрыкая. — Пэпэв умоляюще прижала концы кос к груди. — Мал он еще, не знает, что делает...

— Зато отец и мать должны знать, что он делает. Знаки эти прикликают самых свирепых ивмэнтунов, способных помрачать рассудок любому человеку. У Татро в ту ночь помрачился рассудок, и ему почудились выстрелы. Это проделки Ивмэнтуна. Он оленей разогнал...

— О, горе, горе пришло к нам! — воскликнула Пэпэв, закрыв лицо руками, как это случалось с ней часто, когда ей было страшно смотреть в лик беды.

— Подлей мне горячего чаю.

Пэпэв встрепенулась, сняла с крюка чайник, висевший над костром, обожгла руку. Наполнив чашку чаем, сама подняла ее с деревянной дощечки, протянула гостю. Тот отпил глоток, другой, поморгал красными веками и сказал:

— Ивмэнтун идет по следу твоего сына, как собака за росомахой. Уж очень противный запах принес с собой твой сын, запах пришельцев. Вот почему Ивмэнтун пришел в ваше стадо. Взбесились от страха олени... Где твой сын? Наверное, опять чертит на снегу поганые знаки?

— Я его позову.

Черный шаман вскинул руку.

— Не надо. Ты сказала, что будешь послушна мне. Я попытаюсь очистить Омрыкая. Я вытравлю из него дурной запах. Надо бы дождаться пурги. Тогда Омрыкай голый, каким ты его родила, должен будет обойти вокруг яранги три раза с моими заклятиями...

Пэпэв опять закрыла лицо руками: она слишком хорошо знала, что предлагает черный шаман и чем может кончиться такое очищение.

— Я угадываю твои мысли, — сказал Вапыскат. От выпитого чая тело его разгорелось, и он запустил руки внутрь кухлянки, чтобы унять зуд болячек. — Да, угадываю. Ты боишься, что в сына вселится огонь простуды. Но только этот огонь и способен его очистить. Простуда пройдет, а Ивмэнтун не пощадит, Ивмэнтун рано или поздно настигнет.

Пэпэв молчала, покачивая головой из стороны в сторону, лицо ее было искажено гримасой страдания.

— Но пурги, может, придется ждать слишком долго, — размышлял Вапыскат, не глядя на хозяйку яранги. — Да и муж твой не позволит выпустить Омрыкая голого в пургу. Он не очень чтит меня. До сих пор не может понять, что не я задушил его брата, а духи луны. Да, это они накинули на его шею невидимый аркан и вытащили из него душу. Утащили душу туда, — он ткнул пальцем вверх. — Утащили, хотя душа его и упиралась, как заарканенный олень. Вот это может случиться и с Омрыкаем.

— Нет! Нет! — закричала Пэпэв и заплакала, уткнув лицо себе в колени.

— Можно иначе задобрить Ивмэнтуна. — Вапыскат коснулся мундштуком трубки головы Пэпэв. — На, покури и послушай.

Пэпэв вскинула лицо с заплаканными глазами, какое-то время неподвижно смотрела на черного шамана блуждающим взглядом, потом схватила трубку, затянулась, крепко зажмурив глаза.

— Говори. Я слушаю. Я знаю, ты добрый. Очень добрый.

Вапыскат резко наклонился, сощурив красные веки, так что глаза почти исчезли, спросил вкрадчиво:

— Добрее Пойгина?

Долго, бесконечно долго молчала Пэпэв и наконец уронила голову, прошептала:

— Да, добрее Пойгина.

Чего не сделает мать ради спасения сына. Вапыскат с довольной ухмылкой выпрямился, отпил еще несколько глотков чая.

— Тогда слушай меня и вникай, в чем моя доброта. Кто знает, может, сначала покажется она тебе злом...

— Говори...

— Стадо сейчас пасется у самого стойбища. Омрыкай должен заарканить белого оленёнка, и ты заколешь его. Только такая жертва ублажит Ивмэнтуна, и он уйдет, не пожелав узреть лик Омрыкая. Это значит, что он уйдет искать иную жертву...

Пэпэв, едва не вскрикнув, опять уткнула лицо себе в колени. Заколоть Чернохвостика? Не значит ли это — ударить прямо в сердце сыну?..

— Ты что молчишь? — раздраженно воскликнул Вапыскат. — Или тебе неизвестно, что этот олененок — существо иного вида? Его, и только его, следует принести в жертву Ивмэнтуну. Может, он тебе дороже, чем сын?

— Нет, нет, сын дороже всего... что я видела и увижу в этом мире.

— Тогда вставай и иди! Иди в стадо. Сын там, я видел его. Но он меня пока не заметил. Не говори, что я здесь. Пусть заарканит пээчвака и тащит сюда, к самому входу в ярангу...

Пэпэв медленно поднялась, сделала несколько неверных шагов, схватилась за голову.

— Я не могу...

— Иди, пока Ивмэнтун не узрел лик твоего сына. Торопись!

Пэпэв вышла из яранги, посмотрела в сторону стада. Оно было недалеко, к тому же пастухи перегоняли оленей на другую сторону пастбища. Олени бежали прямо на стойбище. «Гок! Гок! Гок!» — кричали пастухи и среди их голосов звонко звучал детский голосок Омрыкая. Пэпэв заплакала, присела на корточки и, чтобы унять головную боль, приложила горсть снега ко лбу.

Вбегали в стойбище первые олени. Вот уже яранги оказались островками с дымными верхушками среди шумного моря оленей. Омрыкай с собранным для броска арканом подбежал к матери, возбужденно крикнул:

— Вон, вон, видишь, мой Чернохвостик!

Пэпэв поднялась на ноги, опираясь на плечо сына.

— Да, да, вижу. Зааркань его... Я хочу посмотреть, какой ты чавчыв...

Мальчишка провел рукавицей под носом, глаза его выражали восторг и готовность к действию.

— Я могу и быка!

— Не надо быка. Приведи на аркане Чернохвостика. Я хочу посмотреть...

На какое-то мгновение Омрыкай почувствовал что-то неладное. Но может ли мать приносить Чернохвостика в жертву духам без разрешения отца, без особых на то приготовлений? Да нет же, нет! Надо спешить, пока не убежал Чернохвостик слишком далеко. Надо зааркань его на глазах у матери. Пусть посмотрит, какой он чавчыв!

Резко нагнувшись, Омрыкай побежал к белому олененку, принюхивавшемуся к огромной грузовой нарте возле яранги Кукэну. «Ишь, какой любопытный! Ну, ну, принюхивайся. Придет время, и сам повезешь нарту».

Омрыкай, примеряясь метнуть аркан, зашел к олененку с одной стороны, с другой и наконец метнул. И, к величайшему своему конфузу, промахнулся. Это же надо! Так хотел показать маме, какой он чавчыв, а теперь вот хохочут позади приятели, насмешливые слова выкрикивают.

Чернохвостик отбежал от нарты, но недалеко, снова повернул к ней голову, видимо, не удовлетворив до конца свое любопытство. Не успел он решить, бежать ли дальше или вернуться к тому месту, где пахло чем-то таким незнакомым, как голову и челюсти его захлестнула петля аркана.

Упирается олененок, мотает головой, чувствуя резкую боль. Маленький человек — все тот же, который так напугал его недавно, — затягивает петлю все туже, и нет уже никаких сил ему противиться.

А Омрыкай, подбадриваемый друзьями, тащил Чернохвостика к своей яранге, и чудилось ему лицо матери, восторженное, с широкой счастливой улыбкой. Не видел он, как помертвело ее лицо, какая гримаса отчаяния исказила его.

— Смотри... смотри, мама, смотри... какой он сильный! — задыхался Омрыкай, подтягивая Чернохвостика все ближе к себе.

Не заметил Омрыкай, как за его спиной встал Вапыскат. Вытащив свой нож из ножен, он сунул его рукояткой в дрожащую руку Пэпэв.

Что происходило дальше, Омрыкай представлял себе, как в страшном сне. Мать подбежала к Чернохвостику с ножом. Омрыкай вскрикнул, выпуская аркан. Но кто-то схватил конец аркана, и снова забился олененок, захрипел. Омрыкай бросился к Чернохвостику на помощь, споткнулся, упал в снег и только в этот миг увидел черного шамана. Да, это он, он перебирал аркан, подтягивая к себе олененка... Чуть поодаль стояли люди — и взрослые, и детишки, и каждый замер от страха. Олененок бьется уже почти у самых ног черного шамана. А мама, родная мама, любимая его мама, целится узким ножом в сердце Чернохвостика. Неужели это не сон? Конечно, сон. Надо проснуться. Скорее, скорее проснуться! И закричал Омрыкай так, как никогда не кричал в жизни. Мать выронила нож, простонала:

— Не могу...

— Держи! — воскликнул Вапыскат. — Держи аркан! Держи! Ивмэнтун смотрит на твоего сына...

Пэпэв вцепилась в аркан, намотала его на руку, поднимая к небу бескровное лицо с закрытыми глазами. Вапыскат схватил уроненный в снег нож, затоптался у олененка,

выбирая момент, чтобы ударить прямо в сердце.

Ну почему, почему Омрыкай не вскочил, не заслонил собой олененка! Почему он лежал в снегу и не мог шевельнуться? Думал, что спит? Думал, что видит все это во сне? Или Вапыскат обессилил его? Почему он не встал и не убил черного шамана!

Поднялся Омрыкай только тогда, когда услышал крики смятения многих людей: мертвый олененок упал вниз раной...

Нет для чавчыват ничего страшнее, чем то, когда заколотый олень упадет вниз раной. Тот, кто держит аркан, должен так дернуть его перед смертным мигом оленя, чтобы обреченный упал в снег на правый бок, вверх, и только вверх раной. Если олень упадет на левый бок — примчатся со стороны леворучного рассвета самые зловредные духи, и тогда пусть все стойбище ждет, что смерть посетит тот или иной очаг, и только чудо да самоотверженность шамана могут отвратить беду.

Кричали люди, выли собаки, мчалось по кругу в безумном беге стадо, едва не опрокидывая нарты и яранги. Омрыкай смотрел на все это, плохо соображая, что с ним происходит, порой переводил взгляд на бездыханного Чернохвостика, окрасившего снег под собою. Рядом с олененком сидела в снегу мать и громко завывала, раскачиваясь из стороны в сторону. Над нею склонился Вапыскат, тряс ее за плечи и кричал:

— Ты, ты виновата! Твои грязные руки уронили пээчвака на левый бок. Все вы здесь нечестивые! Я и мгновения больше здесь не останусь. Повернитесь все в сторону леворучного рассвета и ужаснитесь! Оттуда уже идет беда... Я сказал все.

Прокричал черный шаман свои страшные слова и скрылся в безумной круговерти испуганных оленей, словно растворился в снежной кутерьме. Омрыкаю казалось, что и сам он превращается в снежную пыль: сознание покидало его...

18

Очнулся Омрыкай в пологе. Не сразу различил при тусклом огне светильника лица матери, отца, старика Кукэну. Еще один человек угадывался в углу полога. Омрыкай слабо махнул в ту сторону рукой и скорее простонал, чем спросил:

— Кто там?

— Гатле. Я Гатле,— ответил человек, сидевший в углу.

— Ты мужчина или женщина?

— Не знаю. Рожден мужчиной, косы ношу женские.

Омрыкай ощупал руку матери.

— Что было со мной?

— Ты спал,— печально ответила мать.— Сначала очень долго плакал, а потом уснул. Двое суток не покидал тебя сон. После этого ты перестал быть Омрыкаем.

Мальчику стало жутко: может, он умер, или его мать лишилась рассудка?

— Почему я перестал быть Омрыкаем?

— Пусть тебе объяснит гость,— заговорил отец, подвигаясь чуть в сторону.

Человек с лицом мужчины, но с волосами женщины придвинулся к Омрыкаю, склонился над ним.

— Я гонец от белого шамана Пойгина. Он не может пока прийти к тебе сам. Но попросил меня сообщить тебе важную весть...

— Какую?

Ты теперь не Омрыкай. Ты Тильмытиль.— Гатле широко расставил руки, изображая парящего орла.— Вот кто ты теперь — человек с именем орла.

— Почему я теперь не Омрыкай?

— Так надо. Белый шаман отвел от тебя Ивмэнтуна. Он и на этот раз победил черного шамана.

И тут Омрыкай в одно мгновение пережил все заново. Мечется Чернохвостик на аркане. Вапыскат выкрикивает злые слова. А потом кровь... кровь под левым боком поверженного насмерть белоснежного олененка — существа иного вида. Мальчику хотелось закричать, как крикнул он в тот раз, когда увидел нож в руке матери, но он только захрипел и зашелся в кашле. Над ним склонились три головы: матери, отца и гостя. Мигал, почти угасая, светильник. Что-то говорил отец, плакала мать и горестно улыбался гость. Но вот поближе протиснулся старик Кукэну, неподвижно сидевший до сих пор с потухшей трубкой во рту.

— Это диво просто, какое славное у тебя имя! — Вскинув кверху лицо, словно бы рассматривая небо сквозь полог, старик торжественно произнес: — Тильмытиль.

— Я Омрыкай.

Мать в смятении закрыла ему рот рукой, а отец, приложив палец к губам, всем своим видом показывал, насколько опасно теперь произносить имя Омрыкай.

— Ты Тильмытиль,— ласково уверял Гатле.— Запомни навсегда. И даже во сне откликайся только на это имя... Об этом тебя очень просит твой спаситель Пойгин...

— Где он? — спросил мальчик, когда мать убрала руку с его рта.

— Он преследует росомаху. Но скоро придет. Может, завтра.

Пойгин прибыл в тот же вечер. Медленно снял он кухлянку, погрел руки о горячий чайник, приложил обе ладони ко лбу мальчика. Потом приложил ухо к его груди, долго слушал.

— Какое верное сердце в твоей груди, Тильмытиль. Ровно стучит, гулко стучит. Крепкий ты, очень крепкий, Тильмытиль.

Мальчику хотелось опять возразить: он — Омрыкай, всегда был Омрыкаем, но по напряженным лицам матери и отца понял, что они очень боятся услышать именно это.

Мальчик приложил руку к груди Пойгина и впервые за этот вечер слабо улыбнулся.

— Я тоже слышу твое сердце...

— Ну, и каким оно тебе кажется, Тильмытиль? — подчеркнуто весело спросил Пойгин.

— Ровно стучит, гулко стучит.

— Ну вот и хорошо, что ты откликнулся на новое имя.

— Почему никто из вас ничего не ест? — спросил переименованный в Тильмытиля и опять уронил на шкуры голову, почувствовав огромную слабость.

— Наконец он попросил есть! — воскликнула Пэпэв.

Майна-Воопка неуверенно посмотрел на жену:

— Разве он попросил?

— Да, я, кажется, хочу есть, — сказал Тильмытиль, поворачиваясь на бок.

И начался в пологе пир. Тильмытилю дали кусочек оленьего языка. Сначала мальчик обмер, подумав, что это язык Чернохвостика, но Кукэну понял его, сказал с шутливой укоризной:

— Ай-я-яй, не может отличить язык чимнэ от языка пээчвака.

Да, это, несомненно, был язык чимнэ, и только чимнэ. Тильмытилю очень хотелось спросить, что сделали с Чернохвостиком после его смерти, но он боялся разрыдаться, и Пойгин почувствовал это. Он понимал, что после такого горя мальчик не скоро успокоится и еще не один раз воспоминания о гибели олененка толкнут его душу во мрак уныния, тем более что ему известно еще и страшное похоронное прорицание черного шамана. А духи различных болезней очень привязчивы к поверженным в мрак уныния, и здесь выход один: вселить в больного свет солнца, устойчивость и спокойствие Элькэп-енэр. Нет, он, Пойгин, когда думал, какое новое имя выбрать мальчику, доведенному до помрачнения, не зря остановился именно на орле. Надо внушить больному, что у человека могут появиться невидимые крылья, способные поднять его над самим собой, слабым и сомневающимся. Тот, слабый, сомневающийся, остается где-то внизу; это уже не ты, да, да, ты уже другой. У тебя, в конце концов, даже имя теперь другое.

Пойгин полагал, что имя надо сменить еще и для того, чтобы сбить с толку злых духов. Они идут за слабым и сомневающимся, как волк за больным оленем, имя его для них как запах их жертвы. И вдруг (это диво просто!) прежнее имя исчезло, нет запаха, следы потеряны. Скулят, бранятся зловредные духи, спорят, где искать след жертвы. Но нет следа! И остаются зловредные духи ни с чем — больной исцеляется. Вот что значит поднять его на крыльях над самим собой.

Спасал Пойгин помраченного горем и страхом мальчика и тем самым бросал вызов своему врагу — черному шаману, обезвреживал его зло. Если бы не скверные поступки черного шамана — мальчик был бы здоров. Но Вапыскат выпустил по его следу росомаху собственной злобы. Именно росомахой представлял теперь Пойгин злобу черного шамана и верил, что не однажды видел ее; именно злобу видел, преследуя вонючую росомаху в горах и долинах. Дело не в живом облике росомахи, придет время — и он расправится с ней. Гораздо труднее победить невидимую суть зла черного шамана, суть, упрятанную в его слова, жесты, мысли, поступки. И вот теперь, глядя на выздоравливающего мальчика, как-то еще глубже понял Пойгин, что, идя по следу росомахи, он о черном шамане думал, душу для противостояния возвышал. И возвысил ее. Вот почему он теперь способен сделать недосягаемым для зла черного шамана и этого мальчика, с новым именем Тильмытиль, и его мать и отца, и многих других людей, которые порой чувствуют себя отставшими от стада оленями. Мнится им, что за ними гонятся и гонятся волки или еще хуже — вонючая росомаха. Однако Пойгин внушает им: не бойтесь, за вами никто не гонится, я с вами, черный шаман бессилен вам сделать зло...

— Ты хотел заплакать, но пересилил себя, — сказал Пойгин мальчишке таким тоном, который звучал высокой, очень высокой похвалой.

— Но рыдание все равно живет во мне. — Тильмытиль несколько раз глубоко передохнул, стараясь избавиться от тяжести в груди. — Что-то теснит мне сердце, и я задыхаюсь.

Пойгин понимающе покачал головой и сказал:

— Наблюдай за мной. Постарайся понять, что со мной происходит.

И уселся Пойгин поудобнее, как-то сначала расслабился, потом сомкнул руки на затылке, долго смотрел в одну точку, о чем-то спокойно

размышлял. Лицо его было проясненным и очень благожелательным к чему-то такому, что он видел в своем воображении. Порой едва заметная улыбка, как солнечный луч, прорвавшийся сквозь тучи, скользила по его лицу, а взгляд уходил вдаль и в то же время был обращен вовнутрь; и можно было подумать, что у этого человека глаза имеют зрачки еще и с обратной стороны и он способен видеть себя, каков он там, где живут рассудок и сердце. Пойгин молчал, чуть откинув голову, поддерживая ее легко и свободно сцепленными на затылке руками, но всем, кто на него смотрел, думалось, что он в чем-то их убеждает, успокаивает, обнадеживает, что он видит каждого из них тоже изнутри, где живут рассудок и сердце, что-то меняет в каждом из них, прогоняет уныние и неуверенность.

Было трудно сказать, как долго это длилось, но никто не пожаловался хотя бы втайне самому себе, что испытал чувство суеверного страха, неловкости, устал от напряжения; нет, всем было покойно и светло, как бывает после миновавшей опасности или трудной работы.

Расцепив руки на затылке, Пойгин с той же проясненностью улыбнулся и спросил у мальчишки:

— Понял ли, что со мной было?

— Ты думал...

— Верно. Я думал о тебе, о матери твоей, об отце, о Кукэну, о Гатле. Но особенно о тебе, потому что именно в тебе сейчас для всех этих людей суть особенного беспокойства.

Тильмытиль слушал Пойгина и не подозревал, что это было заклинанием белого шамана, заклинанием без бубна, без воплей, без невнятных говорений, лишенных всякого смысла. Наоборот, говорения белого шамана должны иметь глубину смысла, ясность чувства и определенность желаний. Это было разумное, доброе внушение, которое должно успокоить больного, вселить в него веру в себя и прояснить надежды...

19

Пойгин уехал из стойбища Майна-Воопки на собачьей упряжке вместе с Гатле. Ночной мир тундры был раскален студеным мертвым огнем луны. Казалось, что сам снег горел, плавясь и перекипая в зеленом мерцании лунного света, горел тихо, неугасаемо, горел в огне, излучающем стужу, вызывающем у всех животных существ тоску, которую могут выразить только волки, когда они поднимают морды и воют на луну, как бы умоляя ее поскорее уступить место истинному светилу — солнцу.

Пойгин искал взглядом темно-синие тени, идущие от гор, чтобы не наблюдать лунный мертвый огонь, излучающий стужу. Он любил смотреть на горы, на резкие тени от них, было в их густой синеве что-то от человеческих глаз, когда они наполняются грустью. С горами вместе хотелось смотреть в бесконечность мироздания, они не вызывали грусть, а помогали грустить, и потому живому существу было легче. К тому же сама синева гор и тени от них как бы спорили с лунным светом, гасили ее мертвый зеленый огонь и, кажется, смягчили стужу. Да, было приятно смотреть на незыблемые горы, постигая их высоту и устойчивость, смотреть на клинья густо-синих теней, радоваться, когда они удлинялись, и печалиться, когда укорачивались. Поднимаясь все выше, луна словно торжествовала победу, отвоевывая все больше и больше пространства в свой подлунный мир, сжигая зеленым огнем темно-синие тени. И только дальние горы как бы уплывали из подлунного мира, сохраняя свой темно-синий цвет.

Гатле сидел позади Пойгина. В стойбище Майна-Воопки он приехал всего на двух собаках. Теперь они бежали в упряжке Пойгина, а нарта волочилась на привязи. О том, что Пойгин хотел сменить имя сына Майна-Воопки, он узнал от Кайти; приподняв чоургын своего полога, она поманила его к себе и тихо сказала:

— Сегодня последние сутки того срока, когда у мальчика должно появиться новое имя. Пойгин может опоздать. Его слишком далеко увела росомаха...

— Пойгин появится в яранге Майна-Воопки ровно тогда, когда следует, — возразил Гатле.

— Я не хочу, чтобы в споре с черным шаманом он был побежденным. Омрыкай должен жить! Для этого ему как можно скорее надо сменить имя. Пойгин сказал, что даст ему имя орла. Да, так сказал Пойгин. И разве не жалко тебе мальчика?

Кайти была возбуждена. Последнее время она часто выходила из себя, порой бранила Гатле, кричала на собак, а хозяев яранги прожигала откровенно ненавидящим взглядом.

Гатле понимал, чем может обернуться для него поездка в стойбище Майна-Воопки, но он покорился Кайти. И вот теперь Пойгин упрекал его:

— Зачем ты ее послушался? Эттыкай не простит тебе этого.

— Пусть не прощает! — вдруг вскрикнул Гатле.

Было похоже, что Гатле обрадовался возможности возмутиться громко, ни от кого не таясь.

— Мне надоело быть рабом! — еще громче закричал он. — Я всю жизнь раб. Я всю жизнь оглядываюсь и разговариваю шепотом. Мне надоели женские одежды и эти косы! Дай нож, я их сейчас обрежу. Ты видишь, у меня нет даже собственного ножа, как положено мужчине.

Пойгин вдруг остановил собак, встал с нарты. Медленно поднялся и Гатле. По лицу его пробежала жалкая, просительная улыбка: казалось, что он уже готов был раскаяться за свою неожиданную даже для самого себя вспышку.

Пойгин положил руки на его плечи, близко заглянул в лицо:

— Послушай ты, мужчина, что я тебе скажу.

Гатле вдруг заплакал.

— Ты почему плачешь?

— Меня никто еще не называл мужчиной.

— Но ты же мужчина!

— Да, да, я мужчина! — опять закричал Гатле и принялся рвать свои волосы.

Пойгин схватил его за руки, крепко сжал.

— Мужчина должен быть хладнокровным. А ты кричишь и рвешь волосы, как женщина.

Гатле обмяк, сел на нарту, вытирая оголенной рукой слезы. Пойгин присел перед ним на корточки, раскурил трубку.

— На, покури и успокойся. И слушай, что я скажу. Сейчас мы вернемся в стойбище Майна-Воопки. Но войдем в ярангу Кукэну. Там тебе обрежем косы, постригем, как мужчину. Кукэну даст тебе мужскую одежду. И ты вернешься к Эттыкаю мужчиной! Понимаешь? Муж-чи-ной!

Гатле слушал Пойгина как бы во сне, страх на его лице сменялся решимостью и решимость снова страхом.

— Нет, — наконец простонал Гатле, — нет. Они убьют меня и тебя.

— Я много думал... убьют они меня или нет. Чем больше думал, тем глубже душа уходила в мрак уныния. Росомаха ужаса начинала идти по моему следу. Но знай, теперь я иду по ее следу! Я перестал бояться смерти. Бесстрашие сделало меня неуязвимым. Мне кажется, что они давно убили бы меня, если бы росомаха шла за мной, а не я за ней. Они... они и есть росомахи. Да, они могут прыгнуть мне на спину и загрызть. Росомаха умеет затаиться у самой тропы своей жертвы. Но если росомаха и убьет меня, то не так, как убила олениху Выльпы.

Пойгин помолчал с лицом, искаженным болью: память перенесла его на тот страшный кровавый след, оставленный обезумевшей от страха оленихой, за которой неумолимо гналась подлая росомаха. Многое можно простить голодному зверю, но не такое зло: гнаться за беременной оленихой, гнаться до тех пор, пока она не выкинет плод, — этого простить невозможно.

Пойгин какое-то время с ненавистью смотрел на луну, потом перевел взгляд на Гатле и продолжил свои говорения, которыми был обуреваем еще там, в яранге Майна-Воопки, именно говорения, а не просто обыкновенный разговор.

— Да, росомаха в лике главных людей тундры хотела бы загнать меня, как ту олениху. Загнать, чтобы я выкинула плод моей верности солнцу. И потом... потом при свете вот этого мертвого светила, — ткнул тиуйгином, вырванным из-за пояса, в луну, — при ее свете сожрать этот плод. Но что станет потом со мной? Я буду все время дрожать от страха, я никому не смогу помочь. Так нет же, луна не увидит меня бегущим от росомахи. — Опять ткнул тиуйгином вверх. — Я, я буду гнаться за росомахой!.. Я долго стоял возле того окровавленного снега, где росомаха сожрала плод оленихи. Там моя ненависть и сострадание окончательно пересилили во мне страх. Я не боюсь главных людей тундры! Ты понял меня?

Гатле медленно заправил под ворот керкера косы, надел малахай.

— Я слушаю тебя сегодня второй раз, и ты кажешься мне каким-то иным, хотя ты тот же самый. Я знал, знал, что ты добрый, но я не знал, что ты умеешь изгонять из человека страх. — После долгой паузы Гатле добавил: — Я готов с тобой согласиться. Пусть, пусть я стану тем, кем родился, — мужчиной...

Пойгин без промедления повернул собак в обратную сторону, восклицая:

— Ого! Затмись самой черной тучей, луна! Не росомаха идет по нашему следу, а мы преследуем ее!

Пойгин дерзко рассмеялся, погоняя собак. А Гатле жалко улыбался за его спиной и с ужасом думал, что через мгновение-другое попросит повернуть упряжку в сторону стойбища Эттыкая.

— Э, ты зачем впадаешь в робость! Выгони думы бессилия прочь из головы! — весело ободрял Пойгин дрогнувшего Гатле, угадав его мысли. — Я не поверну в сторону стойбища Эттыкая!

— Может, все-таки повернем? Он убьет меня и тебя тоже...

— Я не хочу жить подобно зайцу! Пусть Эттыкай побудет в заячьей шкуре. Я знаю... я вижу, он уже начинает со страхом смотреть на меня.

— Но на меня он никогда не будет смотреть со страхом...

— Пусть смотрит с удивлением. Пусть изумится и почувствует и в тебе силу. Мы едем будить Кукэну! Пусть точит ножницы. Мы сейчас обрежем твои косы...

— Но он может испугаться. Он не позволит обрезать мне косы в своем очаге.

— Позволит! Я знаю его. Он поймет, что так надо.

Кукэну уже спал, но поднялся, едва заслышав голос Пойгина, разбудил жену:

— Вставай, старая, кипяти чай. У нас гости.

Прошло не так уж много времени, и в пологе появился горячий чайник. Старуха Екки с суровым лицом недоуменно смотрела на гостей, стараясь понять, что им надо. Несколько недоумевал и сам хозяин. И когда Пойгин все объяснил, он сначала долго таращил глаза на Гатле, потом зашелся в хохоте. Екки испуганно попятилась от Гатле, вскинула темные, узловатые руки, полузакрыла ими лицо. Начинала пробивать дрожь и самого Гатле. А Кукэну продолжал хохотать, подбадривая Гатле:

— Ты не трясись, если решил стать мужчиной! Не обращай внимания на мою старуху. И чего она так испугалась? Я думал, что Екки уже давно забыла, какая разница между мужчиной и женщиной. — Игриво бочком придвинулся к жене, толкнул плечом. — Неужели помнишь, старая? Сколько это мы детей с тобой нашли вот здесь. — Он ворохнул шкуры в углу полога. — Ах, хорошо было искать их во тьме. Ты красивая была у меня, Екки, и добрая. Особенно когда мы искали детей. Только найдем одного, через год уже другой отыскался...

Екки было замахнулась, чтобы огреть старика торбазом, подвешенным для просушки, однако опустила руку, заулыбалась, от чего лицо ее как подменили, и можно было поверить, что она и вправду была когда-то красивой.

— Ну вот, все вспомнила, моя Екки, повесь торбаз на место. — Кукэну осторожно дотронулся до растрепанной головы Гатле. — Не такие уж у тебя косы, чтобы жалеть их. Мужчина есть мужчина, и настоящих кос ему не надо. Зато дано кое-что другое. — Он шутливо шарахнулся от старухи, как бы предполагая, что она опять вознамерится чем-нибудь огреть его. — Я говорю, что мужчине дано иметь, к примеру, усы! А ты про что подумала, моя Екки? Подай ножницы, пусть Гатле станет мужчиной! Мы еще до восхождения солнца женим его..

Гатле не знал, куда деваться от смущения, и это лишь распаляло старого шутника.

— Если ты не знаешь, что делает мужчина с молодой женой, когда они остаются в пологе одни... я тебе объясню. Я помню еще многое! Сам еще, пожалуй, женился бы на молодой, да боюсь, Екки убьет и меня и молодую жену...

На сей раз старуха ударила торбазом по лысине Кукэну. Изобразив на лице страдание, тот притворно вздохнул:

— Вот так и отшибет старуха мне память, чтобы забыл, что я как-никак еще мужчина. — Повернулся к жене с притворно свирепым видом. — Подай ножницы!

Кукэну сам потянулся за мешочком из оленьих камусов, в котором хранились иголки, наперстки, нитки из жил, кусочки шкур. Старуха попыталась вырвать мешочек.

— Ты что надумал, плешивая кочка? Ты хочешь опозорить наш очаг? Ты хочешь навлечь на себя гнев главных людей тундры?

Виноватая улыбка блуждала по лицу Гатле. Ему очень хотелось сказать, что старуха Екки права, но он молчал, в душе надеясь, что хозяйка яранги не позволит остричь его.

— Послушай меня, Екки, — мягко попросил Пойгин, протягивая старухе трубку, — видела ли когда-нибудь ты покровительницу Ивмэнтуна — вонючую, горбатую росомаху?

Старуха отодвинулась в угол, не приняв трубку:

— Почему напомнил о ней?

— Потому, что она преследует Гатле. Ну, если не сама росомаха, то страх в ее облике... Ему надо изгнать из себя страх. Но для этого он должен стать тем, кем родился. Дай мне ножницы. Я обрежу ему косы сам. Я мог бы это сделать не в твоем очаге, прямо под открытым небом, да вот не хочу, чтобы видела луна...

Екки наконец приняла трубку, несколько раз затянулась.

— Нет, под луной не надо, — наконец сказала она твердо и спокойно. — Обрезай ему косы здесь. Только их потом следует сжечь. Нельзя, чтобы хоть один волосок попал черному шаману...

— Зачем сжигать?! — вскричал Кукэну, схватив потрескавшуюся фарфоровую чашечку, аккуратно опутанную оплеткой из медной проволоки. — Посмотрите, какую оплетку я умею делать. Оплету себе голову, а волосы Гатле закреплю на своей плеши. Не женские, конечно, посеку их ножницами под мужские...

Шутил Кукэну, а сам на Гатле поглядывал: не оживет ли его лицо, покрытое смертельной бледностью? Но Гатле был глух к его шуткам,

казалось, что он готов броситься прочь из полога.

— Подай мне ножницы сам, — сказал Пойгин Гатле, стараясь взглядом, голосом, всем своим видом внушить ему решимость.

Кукэну положил Гатле на колени мешочек с принадлежностями для шитья, в котором находились и ножницы, и лукаво спросил:

— Ну, что же ты такой недогадливый? Неужели не понимаешь, зачем я тебе положил на колени этот мешок?

— Дайте трубку, — наконец промолвил Гатле, выходя из оцепенения.

Хозяева яранги и Пойгин принялись поспешно раскуривать трубки. Гатле сначала принял трубку Пойгина, глубоко затянулся, потом сделал по затяжке из трубок Кукэну и Екки и опять вернулся к трубке Пойгина, все так и не решаясь вытащить ножницы.

— Скоро ты поймешь, что испытывает мужчина, когда от него пятится росомаха, — сказал Пойгин, пристально наблюдая за лицом Гатле. — Я вижу тебя идущим по тундре в облике мужчины и говорю: это диво просто, как к лицу ему мужская одежда. Я вижу, как идешь ты в сторону солнечного восхода, и росомаха пятится от тебя...

Гатле медленно засунул руку в мешочек, нащупал ножницы и с отчаянной решимостью вытащил их.

— Может, потушить светильник? — спросила Екки, а сама между тем поправила пламя, чтобы стало светлей.

— Нет, пусть горит! — почти выкрикнул Гатле и, отдав ножницы Пойгину, нагнулся так, будто не косы предстояло ему потерять, а голову.

— Екки, расплети ему косы, — попросил Пойгин.

Старуха помедлила, затем вытерла руки об один из торбазов, висевших для просушки, и принялась расплетать косы Гатле. Кукэну хотел было разразиться очередной шуткой, но не решился, потому что сам испытал что-то похожее на смятение.

— Я хочу, чтобы вы знали, что росомаха начинает пятиться! — громко возвестил Пойгин и обрезал первую косу Гатле.

Екки чуть вскрикнула, а Гатле еще ниже опустил голову и опять замер в непомерном напряжении. Отдав обрезанную косу Кукэну, Пойгин обрезал вторую. Гатле наклонился еще ниже, почти уткнув лицо в шкуры, не смея подняться.

— Теперь ты, Кукэну, постриги его под мужчину, — попросил Пойгин, чуть похлопав по оголенной шее Гатле.

— О, это я умею! Уж я постригу! — воскликнул Кукэну, принимая ножницы. — Пожалуй, я оставлю на макушке тоненькую косичку, как хвост у мыши, и за ушами еще по одной: Не одному Рырке ходить с такими косичками.

— Нет, не хочу! — запротестовал Гатле, поднимая голову. — Стриги совсем. Я ненавижу свои волосы.

Без кос Гатле было трудно узнать, словно в пологе оказался совсем другой человек.

— Это не он, — воскликнула Екки.

— Нет, это именно он, Гатле, — спокойно возразил Пойгин и добавил торжественно: — Именно он, человек, рожденный мужчиной...

Наутро стойбище Майна-Воопки было поражено тем, что из яранги Кукэну Гатле вышел мужчиной. Он был одет в праздничные одежды Кукэну и выглядел настолько необычно, что его было трудно узнать. По лицу его, как и прежде, блуждала смущенная, беззащитная улыбка, и казалось, что он и ходить-то разучился, настолько неловко и непривычно было ему.

Майна-Воопка вошел в ярангу Кукэну и сказал:

— Екки мне уже сообщила, что произошло с Гатле. И я жалею только об одном, что это случилось не в моей яранге.

— Я рад, что это произошло именно в моем очаге! — весело воскликнул Кукэну. — И правильно, что они пришли именно ко мне. Тут нужен был мой мудрый совет. Ты думаешь, отчего я стал безволосым? Не только от того, что Екки таскала меня за волосы. Э, нет, была еще одна причина. Скажу вам, что каждый волосок чувствовал, как шевелится мой ум от мыслей. А мысли мои иногда были страшноваты. Вся макушка враз облысела, когда я вдруг подумал: а почему бы не перебить всех до одного мужчин, почему бы не забрать их жен и не заселить весь свет только моими детьми? Надо бы вам знать, что мои дети всегда отличались послушанием. Столько бы появилось послушных людей! И тогда в этом мире был бы вечный порядок и спокойствие.

— Мудрые мысли, ничего не скажешь, — подыграл соседу Майна-Воопка.

— Пока думал, какой способ выбрать, чтобы загубить всех мужчин, — волосы совсем с моей головы разбежались. Теперь, пожалуй, лишь голова Гатле может сравниться с моей. Покажи моему соседу, какая у тебя голова, сними малахай!

Болезненно улыбаясь, Гатле несмело протянул руку к малахаю и вдруг не просто снял его с себя, а содрал. И съежился, словно его

раздели донага. Майна-Воопка осторожно провел рукой по стриженой голове Гатле и сказал:

— Теперь ты тот, кем родился. Если бы у меня была дочь — я бы выдал ее за тебя замуж.

— Я, я ему найду невесту. Через год к этому дню у него уже будет сын! — Кукэну покачал на руках воображаемого ребенка.— А теперь главное — понять ему... как только женщина поставит ему полог и погасит светильник — нельзя терять ни мгновения! Я времени зря не терял, и кто знает, когда я спал в молодости.

— Скорей всего, когда пас оленей,— пошутил Майна-Воопка,— вот уж, наверное, волки любили тебя.

— Волки любят лентяев. А я не был лентяем. Волки чуяли, что я не был ленив — и когда пас оленей, и когда заботился о продлении человеческого рода. Волки ценили это и уводили волчиц туда, где было им угодно заботиться о продлении своего волчьего рода...

— Я-то думаю, отчего в наших местах так много расплодилось волков! — с хохотом ответил Майна-Воопка.

Расхохотался и Кукэну, с удовольствием оценив шутку соседа. Улыбался и Пойгин, покуривая трубку и разглядывая сквозь табачный дым лицо Гатле. Оно не потеряло выражения прежней униженности, но настолько обозначилось в своей естественной мужской сути, что стало намного привлекательней.

— Я так думаю, что Гатле пока не следует показываться на глаза Эттыкаю,— сказал Майна-Воопка.— Там замучают его злыми насмешками. Пусть поживет в нашем стойбище...

— Я хотел просить тебя об этом. Но ты, человек, понимающий горе других, сам догадался,— сказал Пойгин, покрывая голову Гатле малахаем.— Я поеду в стойбище Эттыкая и скажу, что Гатле теперь тот, кем родился.

— Они тебя убьют,— тихо промолвил Гатле.

— Я им скажу, что если это случится,— ты отомстишь за меня. И сам не прощу, если они вздумают сделать что-нибудь плохое с тобой.

— Передай им, что и я не прощу,— сказал Майна-Воопка, сузив вдруг вспыхнувшие гневом глаза.— Тем более что я знаю, кто стрелял по нашему стаду. В стойбище Рырки я осмотрел полозья нарты Аляека. Это его был след на горе. Он подкрался, как волк...

— Как росомаха,— поправил Пойгин.

— Передай им, что я, Майна-Воопка, никогда не давал себя в обиду и не дам впредь. И друзей своих тоже. И пусть Аляек готовит себе запасные штаны, я ему напомню, что означает его имя!

Кукэну опять зашелся в хохоте, затем воинственно вскинул кулаки и воскликнул:

— Передай этим подлым людям, что я, Кукэну, найду их и под землей, когда они провалятся к ивмэнтунам! И тогда самый страшный Ивмэнтун покажется им кротким кэюкаем в сравнении со мной!

Гатле решил остаться в стойбище Майна-Воопки. Проводив Пойгина далеко за стойбище, он сказал ему на прощанье:

— Ты вернул мне то, что было дано мне от рождения. И знай, что я ничего не боюсь. Росомаха пятится от меня. А косы я разбросаю вот здесь, по тундре, пусть ветер уносит их. Будем считать, что женщина с именем Гатле умерла и заново родился мужчина. Возможно, ты поможешь сменить мне имя. Надеюсь, что это будет достойное имя.

Гатле вытащил из-за пазухи свои обрезанные косы и начал разбрасывать по снегу. Студеные белые струи поземки подхватили их и понесли по снежной тундре. И было похоже, что волосы Гатле превратились в длинные, седые космы; бесконечно тянулись они, извиваясь и уходя куда-то вдаль, в никуда. Гатле следил за их движением с горькой усмешкой и прощался со своим унизительным прошлым.

Выкурив на прощанье общую трубку, Пойгин и Гатле расстались. Гатле долго провожал взглядом удаляющуюся упряжку и плакал. Он знал, что теперь, когда стал мужчиной, ему нельзя плакать, но не мог унять слез. Пусть это будут последние слезы. Сейчас он успокоится и вернется в стойбище и впервые за всю свою жизнь уйдет с арканом в стадо — пасти оленей, как подобает мужчине, и больше никогда не будет разделывать заколотых оленей, варить мясо, кроить шкуры. Хватит! Он не женщина, он стал тем, кем явился в этот мир.

На пятые сутки жизни Гатле в облике мужчины в стойбище Майна-Воопки приехал на оленях Эттыкай. Он долго смотрел на Гатле, чинившего нарту, и наконец спросил при напряженном молчании жителей стойбища:

— Может, это не Гатле?

— Да, это не тот Гатле, которого ты знал,— спокойно ответил Майна-Воопка.

Эттыкай какое-то время смотрел на Майна-Воопку, одолевая бешенство, и опять закружил вокруг Гатле, как лиса вокруг приманки.

— Оказывается, ты умеешь, как мужчина, держать в руках топор? Ты что сидишь? Боишься, чтобы не слетели штаны?

Как никогда чувствуя себя униженным, Гатле не смел поднять голову, по-прежнему сидел

на снегу у нарты. И вдруг глянул снизу вверх в лицо Эттыкая.

— А разве я в твоем стойбище не работал и за женщину, и за мужчину?

— Но ты забыл, что я тебя еще в детстве спас от голода!

— Лучше бы ты меня не спасал.

— Да, лучше бы я тебя не спасал. — Эттыкай дернул Гатле за ворот кухлянки. — Встань, когда я с тобой разговариваю!

Гатле не вставал.

— Встань, я тебе говорю! Надевай керкер и отправляйся домой.

— У меня нет керкера. Я сжег его вместе со вшами.

— Как сжег? — Эттыкай оглядел всех, кто наблюдал за его разговором с Гатле, словно надеясь на сочувствие, но всюду натыкался на откровенно насмешливые взгляды. — Чем ты меня благодаришь? Чем?! Не я ли тебя кормил?

Гатле медленно встал, страдая оттого, что Эттыкай видит его в мужской одежде, поднявшимся во весь рост.

— Это я тебя кормил. Костер жег, оленей свежевал, мясо варил. Вспомни, сколько ты сожрал мяса, сваренного мной...

Эттыкай словно подавился морозным, колючим воздухом:

— Ты... меня... кормил?!

— Да, я. Тебя все там кормят. Пастухи оленей пасут, женщины обшивают тебя и твою скверную Мумкыль...

— Мумкыль — скверная?!

— Да, да, скверная! — вдруг закричал Гатле, выпрямляясь. Я для нее был хуже собаки! И для тебя тоже...

— Ты у кого научился так разговаривать? Анкалин тебя научил?! Пойгин?! Сегодня же выгоню его, как самого гнусного духа, из своего очага! Пусть, пусть едет туда! — Эттыкай указал в сторону моря. — Это оттуда идет самая страшная скверна, какую я знал в жизни! Вы уже все заразились. Вас надо сжечь в ваших ярангах, чтобы не шла дальше зараза, как это бывает при больших черных болезнях!

Лицо Эттыкая заострилось, дрожащие губы посинели, на них пузырилась пена.

— Не укусил ли тебя бешеный волк? — спокойно покуривая трубку, спросил Майна-Воопка.

— Вы сами... сами здесь уже все бешеные волки. Даже Гатле, который был как тень, смеет мне возражать. — Подступился вплотную к Гатле лицом к лицу, будто собирался откусить ему нос. — Или тебе захотелось моих оленей?! Иди, иди, бери! Я слышал... уже отбирают оленей такие вот... в других местах... Вчера пастух, а сегодня хозяин. Все, все хотят быть хозяином. И ты хочешь, да? На, бери мой аркан! Бери! Ну, что ж ты не берешь? Вы посмотрите на него! — Эттыкай вдруг расхохотался. — Посмотрите! Это же не человек, а собачья лапа в штанах! Мышиный помет в мужской одежде!

Гатле покрутил головой, невыносимо страдая от унижения, и вдруг нагнулся, схватил топор. И с такой яростью замахнулся, что Эттыкай попятился.

— Я... я расколю твою голову, как мерзлое дерьмо! Я...

Дыхания у Гатле не хватило, и он, отбросив топор, потянулся обеими руками к своему горлу, зашелся в кашле.

Эттыкай наблюдал, как разрывает кашель грудь Гатле, и постепенно приходил в себя.

— Дайте мне трубку...

Старик Кукэну засуетился, набивая трубку табаком, но тут же унял себя, подчеркнуто показывая, что он не так уж и угодлив перед богатым чавчыв, как могло показаться поначалу.

Эттыкай жадно затянулся несколько раз и сказал, ни на кого не глядя:

— Забудьте, что я здесь говорил. Передайте Пойгину, если появится... я его уважаю и рад видеть его в моем очаге. Я сказал все.

И, по-прежнему ни на кого не глядя, пошел к своей упряжке, проклиная себя, что на этот раз не смог не дать волю гневу.

(Окончание в следующем номере)

Николай Елисеевич Шундик

БЕЛЫЙ ШАМАН

Роман

Редактор Л. Хандруева

Художественный редактор *С. Гераскевич* Технический редактор *Т. Таржанова*
Корректоры *М. Пастер* и *Н. Гришина*
Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 23 08 78. Подписано в печать 10 10 78 А06560 Формат 84 ×108¹/₁₆ Бумага газетная. Гарнитура «Новогазетная». Печать высокая 10,08 усл. печ. л. 11,997 уч.-изд. л. Тираж 1 609 000 экз (1-ый завод 1—500 000 экз.). Заказ 148. Цена 58 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

ПЕСНЯ СЕВЕРА

(окончание)

Поначалу он как бы сплетен из противоречий. К финалу они не исчезают, но все же теряют свою напряженность. Проясняются, выходят на первый план высокие духовные ценности, составляющие основу этого характера.

Пойгин — личность незаурядная. Этот чукча-охотник, пастух-батрак у бывших хозяев тундры, обладает огромною властью над умами и сердцами своих сородичей. И не только потому, что он способен творить то, что порою воспринимается как чудеса. А прежде всего потому, что люди видят в нем опору лучшим своим надеждам, борца, способного не только противостоять злобной силе «черного шамана» Вапыската, но и побеждать ее, посрамлять.

Пойгин — человек с очень сильной волей, пытливым умом, широкой душой.

Зять Пойгина Антон, сын Медведева, довольно точно определяет существенное в характере Пойгина: светлая личность, философ, «гордый индеец»...

Далеко не идиллически развивались отношения Пойгина с Медведевым. «Главные люди тундры» — богач Рырка, черный шаман Вапыскат — пытались сделать именно Пойгина орудием кровавой расправы с Медведевым. Они внушали Пойгину, что на медведевской культбазе в русской школе у чукотских детей отнимают разум. И Пойгин долго еще сомневался — не выстрелить ли ему в Медведева...

В романе действуют много ярких характеров: желчный завистник Пойгина Ятчоль; хитрый, старающийся приспособиться к новой жизни «раскулаченный» Эттыкай; лютый и сильный враг Рырка; добродушный Степан Степанович Чугунов, заведующий торговой базой; верный помощник Пойгина бедняк Майна-Воопка; раб Эттыкая Гатле, которому помог взбунтоваться Пойгин; свежий всход новой жизни — мальчик Омрыкай. Став взрослым, он обнаруживает недюжинный ум, хватку вожака, и в нем видит Пойгин своего преемника. Своеобразный колорит несет образ шутника-весельчака старого Кукэну, умеющего вовремя сказанным острым словом, присказкой, побаской и утешить человека, и направить его душевные силы на добрые дела. И среди всех выделяется образ Кайти, жены Пойгина. Их любви, их вере друг в друга посвятил автор тонко, тактично написанные страницы. Это поэзия чистой страсти, восхищения женщиной.

Личность Пойгина обладает такой силой воздействия на человека, что порою кажется, будто и сам автор подпадает под это воздействие, подчиняется обаянию личности своего героя, и даже стиль повествования в романе приобретает черты, ритм, гипнотизирующую настойчивость «говорений» Пойгина. Автор тоже «ворожит», неся в души читателей и свои «говорения» вместе с «говорениями» Пойгина. Это мудрые, добрые, страстные «говорения» писателя и его героя, двух «белых шаманов», верящих в силу образного слова, в великую — целительную и созидающую — силу добра.

Такая, мне кажется, получилась книга-песня у Шундика, когда он после столь длительного перерыва вернулся к заветной своей теме.

ЮРИЙ ЛУКИН

© «Литературная газета», 1978, № 7.

58 к.

70782